

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Участвуя в лотереях «Спортлото» и «Спортпрогноз», Вы вносите свой вклад в развитие физкультуры и спорта. Сотни спортивных сооружений в больших и малых городах страны построены с участием доходов от этих спортивных лотерей.

Тиражи обеих лотерей проводятся еженедельно.

Выигрыши в «Спортлото» — от трех до 10.000 рублей; в «Спортпрогнозе» — также до 10.000 рублей.

Каждый билет «Спортлото» участвует в тираже двумя игровыми вариантами. Он выигрывает, если с результатами тиража совпадет не менее трех зачеркнутых номеров в одном из вариантов.

В «Спортпрогнозе» выигрывает тот билет, в котором угадан исход 13, 12 или 11 встреч в любом из вариантов этого билета.

Удач в игре, успехов в физкультуре и спорте желает Вам Главное управление спортивных лотерей при Госкомспорте СССР.



№ 32

1988



Алексей ПЬАНОВ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

ПОЕЗДКА
В БЕРНОВО

Алексей ПЬЯНОВ

ПОЕЗДКА В БЕРНОВО

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988 г.

Алексей ПЯНОВ

Алексей Степанович Пьянов родился в 1934 году в Уссурийске. В 1957 году окончил отделение журналистики Ташкентского государственного университета им. В. И. Ленина.

Работал редактором калининской молодежной газеты «Смена», заместителем главного редактора журнала «Юность». В последние годы — главный редактор журнала «Крокодил».

Очерки, статьи, корреспонденции А. Пьянова печатались в «Правде», «Советской России», «Литературной газете», «Знамени», «Октябре», «Юности», «Огоньке», «Смене» и других центральных газетах и журналах.

А. Пьянов — автор книг о жизни и творчестве Пушкина: «Берег, милый для меня», «Мои осенние досуги», «Под голубыми небесами». Ему принадлежат также четыре сборника стихов и литературных пародий: «Явление весны», «Оплошали мужики», «Что посеешь», «Ода ямбу». Произведения А. Пьянова переводились на польский, словацкий, чешский, болгарский, венгерский языки, а также на языки народов СССР.

Алексей Пьянов — член Союза писателей СССР.

ЗАГАДКА И. Л. А.

«УМЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЬ СЕРДЦА...»

Инициалы, вынесенные в заголовок, расшифровываются легко: Ираклий Луарсабович Андроников. Но загадка... Загадка остается! Не верите? Тогда послушайте человека, несомненно более авторитетного, — Корнея Ивановича Чуковского.

«В справочнике Союза писателей кратко сказано, что Андроников Ираклий Луарсабович — прозаик, литературовед и только. Если бы я составлял этот справочник, я раньше всего написал бы без всяких покушений на эксцентризму: Андроников Ираклий Луарсабович — колдун, чародей, чудотворец, кудесник. И здесь была бы самая трезвая, самая точная оценка этого феноменального таланта. За всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который был бы хоть отдаленно похож на него...

Литературное творчество Андроникова почти так же самобытно, как и его лицедейство. Такого писателя до сих пор никогда не было...

Там, где появляется он, — всюду сами собой возникают и «дружелюбный смех», и «радушное гостеприимство». Ибо в числе его талантов есть и этот — умение привлекать к себе сердца, которое дается лишь тем, кто сам озарен очень нелегким искусством — любоваться людьми, восхищаться людьми, преклоняться перед их высокими душевными качествами.

Вот что за этими инициалами! И еще многое, что не вмещается в традиционные формулы, определяющие талант писателя, общественную значимость его творений, обаяние личности.

Формулу Андроникова невозможно вывести, хотя все, что делал он — на эстраде, в кино, на телевидении, в литературе и литературоведении, — математически точно расчислено, абсолютно достоверно, построено на гранитном фундаменте правды, добытой не столько в тиши любимых им архивов, сколько в бесчисленных поездках по стране и зарубежью, в сотнях встреч с тысячами людей. Все это выхожено собственными ногами, потрогано собственными руками. И потому такое яркое, живое, волнующее.

Знаю об этом не только из статей, книг, устных рассказов об Ираклии Андроникове. Судьба подарила мне долгое, почти двадцатилетнее общение с этим феноменальным человеком, общение, переросшее в дружбу, которой бесконечно дорожу.

Я приносил ему первые свои рукописи в дом на Пушкинской площади, преодолев полторы сотни километров до Москвы. И он, больной, скрученный радикулитом, с шей, обмотанной заячьим мехом, вставал с постели, брал стремянку и взбирался по ней за книгой, которая могла помочь мне в работе. Он перерывал горы литературы, чтобы найти нужный мне пушкинский рисунок. Вместе с ним путешествовали мы по градам и весям Верхневолжья — пушкинскими дорогами и дорогами войны, которыми шагал когда-то военный корреспондент Ираклий Андроников.

Я старался запомнить каждое его слово, понимая, что грех не сделать этого. Ибо слово Андроникова всегда исполнено глубокого смысла, даже когда оно улыбочиво, озорно, шутейно. Что это за радость — слушать его вот так, идя или сидя рядом! И тут неважно, о чем он говорит — о гениальном Шалапине или неизвестном тебе Кнаппертсбуше, русских тройках или Иване Ивановиче Соллертинском.

Не раз вспоминались мне при этом знаменитые лермонтовские строки:

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно! —
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Конечно, полной аналогии здесь нет, но они, эти строки, — о магии слов, коя так щедро наполняет речи Андроникова. И те, что отшлифованы долгими трудами за письменным столом, и те, что говорятя экспромтом. В последнем случае воздействие их еще сильнее: на твоих глазах рождается — из самого обычного! — нечто необыкновенное, волнующее ум и сердце. Я был свидетелем рождения нескольких устных его рассказов, так и оставшихся незаписанными. Боже, как — внешне — просто это было! Словно Андроников вспоминал уже существующее, тщательно отделанное и выверенное. Через день или два я слушал эту историю вновь и поражался, как мог он запомнить все это столь точно, полно, дословно. Хотя, конечно, что-то уходило, но приходило новое, рожденное новым вдохновением.

Память его феноменальна. За долгую поездку по тверским краям весной 1973 года мне довелось услышать в его исполнении Шуберта и Брамса, Малера и Бетховена, Чайковского и Вагнера. Он увлеченно напевал, насвистывал, бубнил сложнейшие симфонические сочинения, дирижируя серьезно, вдохновенно, словно был не в кабине автомобиля, а на сцене любимого им Большого зала Ленинградской филармонии.

У меня голова шла кругом от имен композиторов и дирижеров, названий музыкальных произведений, когда тема неожиданно менялась, и Андроников так увлеченно начинал говорить об архитектуре, словно именно она была главным делом его жизни. И при этом — никакого не только высокомерия, но даже малейшего превосходства по отношению к собеседнику, который, впрочем, предпочитал быть слушателем. Всё на равных. И не играя, а всерьез. Но и слушал он так же увлеченно, так же талантливо, как и говорил. Спорил, увлекался, сердился, шутил, иронизировал, хохотал — громко, сочно, не заботясь о приличии. Не гнушался и не боялся «низкого» просторечного слова — оно удивительно гармонично входило в его речь, которая никогда не была выпренной, ученой, профессорской. Но всегда — высокой в своей простоте.

Загадка... И тут загадка. И хотя я тщательно записывал, почти стенографировал его монологи, наши и чужие диалоги, но разгадать этот феномен так и не смог. И до сих пор не понимаю, почему миллионы людей с восторгом слушают такие простые слова, которые в устах другого были бы банальными. Видимо, все дело не в словах, а в устах...

Талант общения... Я не раз испытал на себе магию его обаяния, дружества, в котором, говоря словами Пушкина, не было и тени «позора покровительства». Едва распахивалась на мой звонок дверь андрониковского дома, как раздавалось радостное, громкое, громовое:

— Вива! Посмотри, кто к нам приехал!

И добрейшая Вивиана Абелевна (жена Андроникова), угадывая по интонации, откликнулась из глубины квартиры:

— Алексей Степанович?

— Ну да, именно он, Степанов! Проездом из Твери. Усталый и голодный.

И уже через пять минут оказывался ты за столом с крепким чаем, а по тем временам — и с другими напитками, и начинался долгий разговор обо всем на свете. И тебя, словно близкого человека, посвящали в семейные радости и невзгоды... Так встречали в этом доме гостей, друзей, не деля их по рангам и званиям.

Теперь Андрониковы живут в другом конце Москвы, но традиция эта не утратилась...

И еще один штрих. Очень характерный. Я зашел к Ираклию Луарсабовичу, чтобы поздравить его с присуждением Ленинской премии. Сидели в столовой, под полотном Пиросмани, пили чай. Хозяин был еще взволнован только что свершившимся событием, но говорил не о себе.

— Как здорово, что премию получил Василий Шукшин! — несколько раз повторил он. — Удивительный художник! Какой талант! Знаете, — продолжал Андроников, — если бы ему не дали премию, я отдал бы ему свою.

Не сомневаюсь — он так бы и сделал. Ибо в его натуре — отдавать. Щедрость — тоже один из его человеческих талантов. Я испытал ее на

себе. Однажды Ираклий Луарсабович подарил мне — а мы были тогда совсем немного знакомы — ценный манускрипт из тверской истории и уникальные экземпляры неизвестных стихов Федора Глинки. Сказал при этом: «У меня пролежит без пользы, а вам в работе может пригодиться».

...Нет, что ни говори, а И. Л. А. — загадка. И не менее сложная, чем его знаменитая Н. Ф. И., с которой когда-то и появился в моей жизни Ираклий Андроников. Он открыл мне Лермонтова, привел к Пушкину, поселил в душе жажду поиска, пробудил интерес к истории отечественной культуры. Так о нем могли бы сказать миллионы людей — благородных, признательных писателю за подвижнический его труд, сделавший всех нас богаче.

Недавно достал я из стола старые блокноты. В них — впечатления от встреч и бесед с Андрониковым, поездок «по губернии Тверской», приключения, случавшиеся в дороге. В них — несколько штрихов к широко известному портрету, попытка разгадать загадку И. Л. А. Впрочем, едва ли удачная...

ЕДУ В ПЕРЕДЕЛКИНО

Прежде чем рассказать об этой памятной для меня поездке, я должен вернуться в зиму 1971 года...

Андроников приехал в наш город с большой группой писателей (возглавлял ее Борис Полевой), воевавших на Калининском фронте: в те дни отмечалось 30-летие освобождения Калинина и начало наступления советских войск под Москвой.

Мне поручили сопровождать Ираклия Луарсабовича. Несколько дней колесили мы по заснеженным дорогам Верхневолжья, побывали в колхозах, школах, на заводах... Андроникова встречали восторженно. Особым успехом пользовался его рассказ «Генерал Чанчибадзе принимает пополнение», родившийся в этих местах (под Старицей) летом 1942 года. Читал он его с особым чувством, вдохновенно. Я тогда впервые видел Андроникова так близко и был совершенно очарован им, благодарил судьбу за то, что она вытащила меня из прокуренного кабинета и определила в попутчики к этому кудеснику.

В один из дней я подарил Ираклию Луарсабовичу свою только что вышедшую тоненькую книжечку о пушкинских местах Верхневолжья. При этом волновался, как школьник перед экзаменом: подумать только — самому Андроникову всучить самодеятельное сочинение о Пушкине! А если скажет он: «Молодой человек, предмет слишком серьезен, чтобы вот так...» Однако дело было сделано...

Перед отъездом, в общей суматохе проводов, Андроников отыскал меня и протянул мне... мою книжку со словами: «Возьмите на память о нашем путешествии. Своей здесь нет, дарю вашу...»

Сердце у меня упало: вернул!

Дома я раскрыл «подарок». Это был не тот экземпляр, что я преподнес с решимостью новоявленного «пушкиниста» прославленному метру, а совсем другой! На обороте обложки прочитал, волнуясь и плохо понимая смысл написанного, слова, которые определили мои литературные пристрастия. Я никогда и никому не показывал их, ибо считал, что этот щедрый аванс надо сперва отработать. Теперь, когда уже вышли две мои книжки с предисловиями Андроникова, я, пожалуй, рискну. Ибо они, эти слова, больше говорят о нем, чем обо мне.

Вот что было написано на обороте обложки:

«Дорогой Алексей Степанович!

Пишу не на своей книге — на Вашей. Проехав через Старицу и Малинники, побывав в Бернове, перечитал Ваше писание и вижу новые достоинства в нем — сочетание достоверности с живостью, любовь к предмету, публицистичность, плавность, строгость, простоту. Хорошо и умно. И нужно всем. Знать Вам, работать, писать без счета годов и книг создавать несчетно.

Жму Вашу так хорошо пишущую руку.

Ираклий Андроников».

Выждав для приличия несколько дней, я позвонил Андроникову в Москву и поблагодарил за подарок.

— Не бросайте эту тему, — сказал он. — Напишите новое — привозите, посмотрю.

Летом 1972 года новая рукопись была готова. Теплым субботним утром приехал я в столицу и позвонил в Переделкино.

В трубке — знакомый голос:

— Откуда звоните?

— Из «Комсомолки», зашел к друзьям.

— А вы могли бы приехать сейчас?

— Конечно! — ответил я.

— Вы были в Переделкине?

Я хотел уже сказать «да», но вовремя передумал. Дело в том, что в Переделкино до этого приезжал я лишь однажды: поздним вечером московские друзья повезли меня на могилу Бориса Пастернака. Дорогу я не запомнил, даже не знал, с какого вокзала ехать — с Киевского или Белорусского. А вот могила запомнилась. И сосны над ней... И тишина... И полная луна в просторном небе...

Вслушав меня, Андроников сказал:

— Берите бумагу и записывайте. Пишите подробно, иначе заблудитесь. Значит, вы в «Комсомолке»? Это на улице «Правды». Садитесь в автобус. Вива! Какой там автобус от «Правды»? Ага! Значит, автобуса там нет. Садитесь в маршрутку. Вива! Какая там маршрутка ходит? Ах, одна. Значит, садитесь в маршрутное такси и доезжаете до Белорусского вокзала.

— Понятно, — говорю я, отрываясь от бумаги, — знаю.

— Что знаете?! — кричит Андроников. — Белорусский здесь ни при чем! Он вам не нужен! Вы просто до него доезжаете. Это ориентир. Записали? Вам нужен Киевский. Вива! Где ему делать пересадку? И я не помню. А у вас нет схемы метро? Есть?! Прекрасно! Значит, доберетесь до Киевского вокзала...

В комнате, где я сижу, уже никто не работает: слушают мой диалог с Андрониковым.

— Вы что там замолчали? — встревоженно спрашивает Ираклий Луарсабович. — Вы меня слышите? Пожалуйста, записывайте все подробно — мы вас ждем к обеду. И не переоценивайте свои способности — вы не в Твери.

— Я пишу, Ираклий Луарсабович, — говорю в громыхающую трубку.

— На Киевском садитесь в электричку. Там есть перрон для пригородных поездов. Не перепутайте, а то уедете в Киев, а мы вас ждем к обеду, без вас за стол не сядем, а погибать от голода не намерены. Садитесь в первый вагон. Записали? Да, непременно узнайте, останавливается ли эта электричка в Переделкине, иначе мы все останемся без обеда...

Теперь я уже все понимаю: записывать все, что он говорит, не надо: это игра, шутка — от хорошего настроения, рожденного солнечным утром, которое там, за городом, среди листьев и трав, особенно прекрасно. Это что-то вроде устного рассказа о приезде провинциального знакомого в столицу. И я начинаю подыгрывать своему собеседнику.

— Ираклий Луарсабович! — говорю я. — Подождите! В редакции кончилась бумага! Послали в соседнюю.

— Пишите на манжетах! — отвечает он. — Вы ведь журналист. Ах, вы в летней рубашке! Тогда запоминайте. В Переделкине, выйдя из вагона, своротите направо. Идите по асфальтированной дороге. Перейдете мостик и окажетесь у большого поля. Оно имеет форму квадрата. В одном его углу — телеграфный столб, в другом — дальнем — трансформаторная будка. Не знаю, увидите ли вы ее, но она там есть. Если вы мысленно проведете линию, соединяющую противоположные стороны квадрата... Впрочем, он может оказаться и прямоугольником...

Ровно через час сошел я с электрички в Переделкине. Быстро обнаружил знакомые по рассказу Андроникова ориентиры. При всей шуточности нашего разговора они были абсолютно точны, и я легко нашел нужный мне дом в самом конце улицы Павленко. Увы, теперь его уже нет: лет десять назад сгорел. В огне погибла часть библиотеки и архива Андроникова. Как-то, рассказывая мне об этом, он сказал: «Знаете, нет хуже без добра. На пепелище, среди того, что уцелело от огня, отыскался небольшой портфельчик с рукописью одного моего корреспондента. До этого считался он утраченным, я уж и извинения принес. А тут нашелся. Вот радость была!»

...За калиткой открылся мне запущенный живописный сад. Под деревьями плетеные ивовые кресла и скамейки, потемневшие от дождя и солнца и ставшие серебряными. Пахнуло старой усадьбой, чеховским «Домом с мезонином». Я поднялся на крыльцо и постучал.

Дверь открыл Ираклий Луарсабович и, протянув мне руку, широко улыбаясь, закричал:

— Вива! Элевтер! Он приехал! Посмотрите, он приехал! Ну проходите же! Обед на столе! Нет, это поразительно! Который теперь час? Что? Два?! Невероятно!

Этот взрыв энтузиазма и удивления смутил меня. А Андроников продолжал бушевать.

— Элевтер! — почти кричал он. — Степанов добрался к нам всего за час! Невероятно! Я же говорил вам, что это талант! Ах, вы, Алексей Степанович, не понимаете? Вам не ясна причина моего энтузиазма, как вы изволили выразиться. Это вполне естественно. Элевтер, он же не может знать, что наш племянник из Москвы до этого дома добирался двое суток, хотя я ему объяснил дорогу еще более подробно, чем вам, потому что он приехал из Тбилиси. Ты помнишь, Элевтер? Он, кажется, дошел пешком до Волоколамска. Надо было видеть, каким он явился сюда!..

Человек, которого Андроников называл Элевтером, был очень похож на хозяина дома. Он улыбался так же искренне и радушно и на все вопросы Ираклия Луарсабовича согласно кивал красивой седой головой. Это был младший брат Андроникова, известный физик, академик Элевтер Луарсабович Андроникашвили, гостивший в те дни в Переделкине.

Обед приготовили роскошный — на просторной веранде, куда залетал теплый ветерок из сада. Правда, завершали мы трапезу в столовой: нас выжили слетевшиеся на свежее варенье осы. Они так яростно пикировали на стол, что вся компания панически бежала, опрокидывая стулья...

Я заметил, что Андроников говорит о брате с любовью и гордостью, хотя и приправляет свой рассказ по привычке изрядной дозой юмора и иронии.

— Вы знаете, почему он стал большим ученым? — спрашивает меня Ираклий Луарсабович. — Это страшная история, уходящая корнями в далекое детство. Я мог стать еще учение его. Предвидя это, он применял жуткие приемы.

Элевтер Луарсабович улыбается: должно быть, уже слышал эту «страшную историю».

— Вы совершенно напрасно улыбаетесь, товарищ академик, — говорит Андроников, отхлебывая чай. — Я должен довести до сведения общественности ваши подлые приемы. Дело в том, что в детстве мы увлекались спортом: соорудили в комнате турник из швабры. Один ее конец клали на что-нибудь устойчивое, а другой держали в руках по очереди. Так вот, я держал честно, когда он висел на швабре. Элевтер же иногда выпускал ее, от чего я падал на пол и ударялся головой о пар-

кет, что, конечно, не способствовало появлению в ней оригинальных мыслей. Впрочем, возможно, все было наоборот. Ты не помнишь, Элевтер?

...Незаметно пролетел день. Мы долго ходили с Андрониковым по саду и говорили о прошлогодней поездке. Моя рукопись лежала на столе в кабинете. Рядом с ней были разложены в аккуратные стопки страницы его будущей книги «К музыке». Некоторые из включенных в нее рассказов я уже знал из его уст: они звучали на зимней верхневолжской дороге, которая так счастливо привела меня в Переделкино.

Неделю спустя я позвонил Андроникову из Калинина.

— Приезжайте, — сказал он, — прочитал вашу рукопись и написал предисловие.

ТЕЛЕГРАММА ЧАКОВСКОМУ

Столько всего утратилось за эти годы, потерялось, пропало безвозвратно, а этот небольшой бумажный прямоугольник — карточка библиотечного каталога с круглой дыркой у нижнего обреза — сохранился! Завалялся среди старых вырезок, конвертов, фотографий и вдруг — в нужный момент! — нашелся. Плюшкинская моя привычка ничего не выкидывать, даже, казалось бы, совсем ненужного, пустячного, снова, в который уже раз, подарила радость.

На карточке красным фломастером почерком Андроникова написано: «Раскопки Тверского Кремля». Рядом, но уже чернилами: «Потемкин», «Чаковский».

Как ни силился я вспомнить, по какому случаю заинтересовали Ираклия Луарсабовича Тверской Кремль и знаменитый екатерининский вельможа, — ничего не получилось. А вот что касается Чаковского...

Без всякого труда нашел я в папке, помеченной 1973 годом, еще одну бумажку. На ней тем же самым, что и на карточке, почерком написано следующее:

Москва, Цветной бульвар, 30
Редакция Литературной газеты
Чаковский Александр Борисович

Тридцать два года отношусь к вам со все возрастающим уважением
тчк

Искренне поздравляю вас

Ваш Ираклий Андроников
Калинин Мотель Тверь № 235
Андроников И. Л.»

Каким же образом андрониковский автограф оказался в моем архиве? Была ли телеграмма отправлена адресату?

На этот раз, приехав в Калинин, Андрониковы остановились в мотеле «Тверь». Дорожное это пристанище уютно само по себе. Спряталось

оно неподалеку от Ленинградского шоссе в Комсомольской роще, среди вековых елей и сосен.

Тихо. Спокойно. Шелест машин не только не мешает наслаждаться деревенскими прелестями, но и напоминает о том, что в любой момент можно выйти на трассу и махнуть в Москву, Ленинград, Торжок или Вышний Волочек той самой «государевой дорогой», которой ездили Радищев, Пушкин, Глинка, Толстой... Остановиться в Медном, на берегу Тверцы, побродить по удивительному львовскому Райку, поражающему даже искушенный глаз своей гармонией, величием, гениальностью пропорций этой сельской усадьбы...

Прогулка наша по окрестному лесу была короткой: у Ираклия Луарсобоича болела нога. Вечером надо было делать перевязку. Врачи отпустили его из Москвы только после клятвенных уверений, что каждый день он обязательно будет навещать поликлинику.

Обедали в почти пустом ресторане: в воскресные дни постояльцы мотеля разбредаются по округе. Говорили о завтрашней поездке в Торжок. Андроников диктовал мне объекты, которые следовало посетить: трактир Пожарского, дом Олениных, Митино, Прутенский погост, где покоится Анна Керн, Василево... Он знал эти места еще с военных лет, да и потом бывал здесь, когда калининцы с огромным энтузиазмом создавали и благоустраивали знаменитый ныне литературный маршрут — «Пушкинское кольцо Верхневолжье».

— Непостижимо! — то и дело восклицал Андроников. — Фантастично! Как это умудрились вы (я тогда жил в Калининe, работал в обкоме партии) за такое время сделать все это?! Феноменально! И как умно, как интеллигентно!

Вдруг он умолк, прислушиваясь к тому, что говорили по радио. Передавали последние известия, и я расслышал только конец фразы: «...звание Героя Социалистического Труда».

— Ты слышала, Вива? — вскричал Андроников. — Александру Борисовичу Чаковскому присвоено звание Героя. Замечательно! Но как же я забыл, что сегодня его шестидесятилетие! Осел! Варвар! Тоже мне — путешественник хромой! Забыл, все забыл! А ведь записал же еще дома, мизерабль несчастный...

Немногочисленные едоки, побросав ножи и вилки, испуганно смотрели на наш стол, за которым бушевал Андроников. Наконец он успокоился, достал ту самую карточку, о которой я уже говорил. На ней в самом деле было написано: «Чаковский».

— Вива, Алексей Степанович, — сказал он вставая, — нужно немедленно дать телеграмму Алесандру Борисовичу. Пошли на почту.

Увы, почтовое окошко в вестибюле мотеля было закрыто картонкой — воскресенье.

— Как же быть? — огорчился Андроников. — А знаете что? Вы ведь сейчас поедете домой? В городе телеграф, конечно, работает. Вот и отправите наши поздравления.

Он сел к столу, я дал оказавшийся в кармане листок, и через пять минут телеграмма была составлена. А еще через полчаса поднимался я по крутым ступенькам центрального калининского телеграфа. Аккуратно переписав на бланк андрониковский текст, протянул телеграмму скучающей в одиночестве девушке. Она машинально пробежала глазами текст, что-то подчеркнула, потом посмотрела на меня и строго сказала:

— Я не могу принять эту телеграмму.

— Почему? — опешил я.

— Потому что вы не Андроников.

— Но ведь я и не говорю, что я Андроников!

— Вы это написали, — ядовито парировала она.

— Это не я написал, а Андроников.

— Да? — Она ехидно улыбнулась. — А где же он? Испарился? Я же видела, гражданин, как вы только что писали все это. Зачем вы врете?

— Я не писал, а переписывал — вот с этой бумажки, которую дал мне Андроников...

Говоря это, я понял, что ничего не смогу доказать строгой телеграфистке. Почерка Андроникова она не знает. А если бы и знала, то могла подумать, что я выкрал эту страничку. Рассказать ей о том, что Андроников в мотеле, где не работает почта по случаю выходного дня, а в номерах нет телефонов, — не поверит, ибо Ираклий Луарсабович только что приехал и об этом в городе еще никто, кроме высокого начальства, пригласившего его сюда, не знает. Конечно, можно было поискать почту, где телеграфистки не столь просвещенны, как эта, в силу чего я вполне могу сойти за знаменитого писателя. Но время! На дворе вечер, и я должен выполнить поручение Андроникова. Кроме того, пыл мой уже прошел, и я не без удовольствия ощущал комизм ситуации, предвкушая, как завтра расскажу ему об этом и Андроников будет хохотать и кричать: «Вива! Да он самозванец! Степанов — самозванец! Он хотел примазаться к чужой славе!» И снова заразительно, вкусно хохотать.

Словом, неожиданную ситуацию надо было отыгрывать до конца. И я продолжил диалог:

— Ну хорошо, а что — разве не может человек дать телеграмму по чьей-либо просьбе?

— Конечно, может, если это серьезная телеграмма. А шутить такими именами... Я вчера видела Андроникова по телевизору. Он в Москве, а ваша писанина — глупая шутка. И давайте на этом закончим, — решительно посоветовала мне девушка в окошке.

Увы, пришлось прибегнуть к «казенному» методу переговоров. Я попросил у нее разрешения позвонить по служебному телефону, набрал номер хорошо знакомого мне начальника управления связи, и он подтвердил мои полномочия.

Слушая наш разговор, телеграфистка покраснела, а потом, принимая злополучную депешу, сказала извиняющимся тоном:

— Я же не знала, что это правда. А он будет у нас выступать?

— Будет, — сказал я, — и обязательно расскажет эту историю с телеграммой.

— Ой, не говорите ему, пожалуйста!

Я не обещал, ибо грешно было бы не поведать Ираклию Луарсабовичу о том, что, едва успел он ступить на тверскую землю, как тут же посыпались поистине андрониковские сюжеты...

Утром, в машине, по дороге в Торжок, Андроников, слушая телеграфную историю, хохотал так яростно, что шофер — невозмутимый, могучий Володя, водивший некогда вездеходы в Антарктиде, — испуганно оглядывался на нас и дергал баранку...

А телеграмму, как потом я узнал, Александр Борисович Чаковский получил вовремя.

1973—1986

ПОЕЗДКА В БЕРНОВО

Отыскался блокнот, считавшийся безвозвратно утраченным. Перелистал густо исписанные страницы — и высветились в памяти летние дни 1973 года, неожиданный приезд Константина Симонова в Калинин, путешествие с ним по пушкинским местам Верхневолжья.

Напоминанием об этой поездке остались у меня три книги: сборник «Маяковский делает выставку», симоновский томик стихов, поэм, переводов и его повесть «Двадцать дней без войны». Эту последнюю Константин Михайлович прислал уже позже, осенью, из Москвы. Читая ее, я не обратил внимания на одну деталь, а сейчас, перечитывая, подумал о том, что выбор именно этой книжки Симоновым был, вероятно, не случайным.

Вот как она начинается:

«Возвращаясь на редакционной «эмке» из-под Ржева, Лопатин на обезде у Погорелого Городища попал под утреннюю немецкую бомбежку, перележал ее в снегу и нанюхался гари от близких разрывов».

Тогда, летом, мы оказались рядом с этими местами — Ржевом, Погорелым Городищем — памятными для Симонова, военного корреспондента «Красной звезды». Он говорил, что если позволит время, обязательно заглянет туда, где был суровой зимой сорок второго. На сей раз осуществить задуманное не удалось: неотложные дела звали домой. Путешествие наше в Старицу, Берново, Малинники было коротким.

Но у этой поездки давняя предыстория...

Заканчивая университет, писал я курсовую работу по русскому языку. Тема была общей для всех: «Эмоциональная лексика в поэзии». Конкретный объект предстояло выбрать самому. Я назвал Симонова, потому что любил его стихи.

Взял в библиотеке только что вышедший сборник поэта, остановился на стихотворении, помеченном 1944 годом. Оно было среди самых любимых.

Честно и добросовестно пытался я раскрыть тайну внешне совсем простых, но таких удивительных по силе воздействия строк. Анализировал, взвешивал, доказывал, не скупясь на солидные термины. И хотя извел я изрядное количество бумаги, тайна стихотворения, разумеется, осталась нераскрытой. Я и сегодня не могу, к счастью, объяснить загадку строк, написанных более сорока лет назад, и читаю их с прежним волнением, совсем не думая о том, какую роль играет в этом эмоциональная лексика.

Первый снег в окно твоей квартиры
Заглянул несмело, как ребенок,
А у нас лимоны по две лиры,
Красный перец на стенах беленых.
Мы живем на вилле ди Веллина,
Трое русских, три случайных друга.
По ночам стучатся апельсины
В наши окна, если ветер с юга.
На березы вовсе не похожи —
Кактусы под окнами маячат,
И, как все кругом, чужая тоже
Женщина по-итальянски плачет...

Сидя в аудитории, я переписывал эти зимние строфы, сочиненные в чужой стране, а в Ташкенте между тем стояла весна. В сквере, напротив университета, узбек в бязевой чалме, накрунутой на тюбетейку, продавал букетики фиалок. Корзина его, сплетенная из ивовых прутьев, полыхала голубым пламенем. Таким же голубым было небо над городом. А на исписанных листах бумаги плескалось никогда не виденное мною море.

Пароходы грустно, по-собачьи
Лают, сидя на цепи у порта,
Продают на улицах рыбакчи
Осьминога и морского черта.
Юбки матерей не отпуская,
Бродят черные, как галки, дети...
Никогда не думал, что такая
Может быть тоска на белом свете.

Теплый ветерок приносил в раскрытые окна голоса птиц и неведомые запахи, от которых кружилась голова, и все на свете слова казались

мне эмоционально окрашенной лексикой. И потому курсовая работа двигалась быстро, но при этом сильно теряла в своей научности.

Однако на защите я получил «пятерку», а от старого друга в подарок — книжку стихов Симонова с собственноручной его, друга, надписью на титульном листе: «— Ты помнишь, Алеша?.. Пьянову от меня. К. Симонов».

«Бывают странные сближения», — не без удивления написал Пушкин в «Заметке о «Графе Нулине».

Да уж, бывают!

Однажды, выйдя от своего друга, где готовились мы к экзаменам, я увидел во дворе... Константина Симонова! Это было так неожиданно и так невероятно — Симонов в Ташкенте! — что я, словно споткнувшись, остановился у скамейки, на которой сидел он, читая газету.

Сложные чувства обуревали меня. Тогда, в середине пятидесятых, встречи с писателями не были такими частыми и привычными, как сегодня. Случившись, они становились событием, которое запомнилось на всю жизнь. Так навсегда остался в моей памяти Владимир Луговской, идущий по знойной ташкентской улице, Лидия Сейфуллина, беседующая с нами, двадцатилетними, в актовом зале университета...

Симонов опустил газету и посмотрел на меня не без удивления и любопытства. А мне хотелось сказать ему, что я очень люблю его стихи, и еще про курсовую работу, которой я, надо признаться, втайне гордился, и про то, что сам пробую писать.

Но вместо всего этого я сказал: «Здравствуйте!» — и выскочил на улицу.

Вскоре, окончив университет, уехал я из Ташкента, так больше и не увидев Симонова.

Прошло пятнадцать лет. Все эти годы жил и работал в Калининe. Курсовая, которой, увы, не дано было стать вкладом в науку, давно забылась, а вот встреча с любимым поэтом помнилась. Книжка с «его» автографом часто снималась с полки...

Лето 1973 года выдалось солнечным, теплым. Началось оно для калининцев Пушкинским праздником в древнем селе Берново. В бывшей вульфовской усадьбе открылся музей поэта. В Калининe сооружался памятник Пушкину — над ним работал известный скульптор Олег Комов. Рождалось ныне ставшее уже знаменитым «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Рождалась новая замечательная традиция. Я был счастлив причастностью к ней: по совету Ираклия Луарсабовича Андроникова и при его поддержке написал книгу о пушкинских местах Тверской губернии «Берег, милый для меня». Эта работа свела меня с замечательными людьми — московским художником Юрием Леонидовичем Керцелли и директором Государственного музея А. С. Пушкина в Москве Александром Зиновьевичем Крейном. Они много сил, энергии, сердечного тепла отдали благородному делу — возрождению заповедных мест Верхневолжья, связанных с жизнью и творчеством великого русского поэта.

«Бывают странные сближения»...

В тот день, 13 августа 1973 года, я возвратился из очередной поездки в Берново. Проходя по Тверской площади, увидел... Константина Симонова! Он стоял у гостиницы «Центральная», о чем-то беседуя с Крейном.

Теперь уже я знал, что надо делать — подошел и сказал:

— Здравствуйте, Константин Михайлович!

Он и на этот раз посмотрел на меня не без удивления и любопытства, которое тут же было удовлетворено Александром Зиновьевичем.

Симонов спешил: он приехал в Калининскую область, приглашенный Крейном, посмотреть наши пушкинские места, приехал всей семьей — с женой и дочерью, и сегодня их ждали в картинной галерее.

— Приходите вечером к нам, — пригласил он. — Посидим все вместе, обсудим диспозицию на завтра. Встретимся здесь, в гостинице, ну, скажем, часов в семь. Согласны?

Дома нашел я ту, ташкентскую его книгу и еще с полдюжины поэтических сборников Симонова.

За столом было шумно, весело, уютно. Симонов, одетый в свитер и джинсы, держался просто, дружески, раскуривал трубку, много говорил, внимательно и заинтересованно слушал. По всему было видно, что ему нравится здесь, что поездка эта, только еще начавшись, уже пришлась ему по душе.

Я рассказал ташкентскую историю нашего «знакомства», что прибавило веселья за столом.

— Напрасно вы тогда убежали, — сказал Константин Михайлович. — Любопытно было бы посмотреть вашу работу... Ташкент помню. Замечательный город, прекрасные люди. У нас с Ларисой, — он обернулся к жене, — там много друзей. А что, сочинение об эмоциональной лексике сохранилось?

Он спросил серьезно, безо всякой иронии. Выслушав ответ, помолчал и, словно вспоминая, произнес:

Никогда не думал, что такая
Может быть тоска на белом свете.

Умолк. И уже с улыбкой:

— Действительно, эмоциональная лексика. Правда, эмоции тут явно отрицательные.

А потом я показал ему книжку с «автографом». Он прочел надпись вслух, посмеялся вместе со всеми и сказал:

— Не хочется примазывать к тому Симонову, а этот своей книжки не захватил, вот досада. Хотя постойте, сейчас что-нибудь найдем! — и вышел из-за стола.

Вернулся через несколько минут радостный:

— Не с пустыми руками приехал в Тверь! Вот — держите. Такой книжки здесь еще ни у кого нет.

Я рассматривал подарки — книгу «Маяковский делает выставку» и факсимильное издание каталога знаменитой выставки «20 лет работы Маяковского», а он увлеченно рассказывал о том, какая замечательная получилась экспозиция, с каким энтузиазмом делали ее все, кто был причастен к этой работе. И ни слова о себе. А я знал, что именно Симонов был одним из инициаторов новой выставки, душой этого благородного дела во имя памяти его любимого поэта.

Дома, внимательно пролистав книгу и каталог, я понял, что он не шутил, когда говорил об уникальности этого подарка. В выходных данных значилось: «Тираж 5000 экземпляров, из них 1000 экземпляров с вклейкой плаката о продлении выставки и приложением копии каталога выставки 1930 года. Нумерованные экз. № 437». Последнее число было проставлено специальным штемпелем от руки. Это значило, что я стал обладателем действительно редкого экземпляра.

В конце вечера, когда мы обсудили планы предстоящей поездки (долго спорили о том, куда вначале направиться — в Торжок или Старицу), я достал из портфеля книгу избранных произведений Константина Симонова «Стихи, поэмы, вольные переводы». Выбор был не случайным: в этот сборник вошли переводы из современной узбекской поэзии, сделанные Константином Михайловичем в Ташкенте. Он взял объемистый томик, пролистал его и написал: «Алексею Степановичу на добрую память с признательностью. Ваш К. Симонов».

Утро было теплым и тихим. В несколько минут выбрались мы на Старицкое шоссе. Замелькали придорожные деревни. И вот за очередным поворотом открылась взору картина, которая, сколько бы ты ни видел ее, всегда вызывает волнение и радость: прибрежное село Иванищи, старая церковь с зелеными маковками, а дальше — излучина Волги, лес на том ее берегу.

Константин Михайлович попросил шофера остановиться.

Мы съехали на обочину, и весь экипаж дружно высыпал из машины.

— Какая красота! — не скрывая восторга, сказал Симонов. — Лариса, ведь это Волга! Принеси фотоаппарат — снимемся на память.

И тут выяснилось, что в суматохе сборов аппарат взять забыли. Константин Михайлович искренне расстроился. Я успокоил его: впереди Старица, там коллеги из редакции выручат. Меня смущало другое: асфальтированная дорога только до станции Старица, а дальше — грунтовая, в дожди местами непроезжая. Дождей, слава богу, давно не было, но вот колдобины, пыль, ухабы...

В Старице задержались недолго. Пока гости осматривали Успенский монастырь, я успел сходить в редакцию, разжился фотокамерой и двумя катушками пленки.

Всю нашу небольшую команду нашел у недавно восстановленной монастырской башни. Симонов внимательно слушал экскурсовода, делал пометки в блокноте. Потом, когда возвращались к машине, сказал:

— Вот вы собираетесь организовать здесь музей. Хорошая идея. А что если в одном из залов сделать постоянную выставку военных фотографий? Скажем, сто самых знаменитых снимков военных фотопортретов. Старица — город ратный, традиции у него славные. Подумайте. Надо будет — помогу вам.

Он поблагодарил экскурсовода, что-то пометил в блокноте, и мы поехали.

Еще десяток километров — и в пору было вспоминать знаменитые пушкинские строки о дорогах. Машину трясло на ухабах, шлейф пыли тянулся за нами дымовой завесой.

Константин Михайлович, словно ничего этого не замечая, развивал свою идею о выставке фотографий.

— Прекрасная может получиться экспозиция. Именно в этом монастыре. Он ведь был когда-то крепостью... Только фотографии — больше ничего. Вернемся домой, поговорю с Тениным и Рюмкиным.

Лариса Алексеевна тронула Симонова за плечо:

— Костя, закрой, пожалуйста, окно — пыль.

— Ну какая это пыль, Лариса! — воскликнул он. — Это пудра! Вот когда мы шли на Яссы, там действительно была пыль. Днем машины зажигали фары — ничего не было видно... А это — пудра!

Однако окно закрыл, сказав при этом:

— Тоже мне путешественницы — пыли бояться.

В Малинниках, у входа в парк, нас ожидали Александр Зиновьевич и Юрий Леонидович. Они уехали из Калинина раньше, чтобы осмотреть «свои владения» и не ударить в грязь лицом перед гостями. Успели побывать в Бернове и вот теперь встречали нас в этой уютной деревеньке, которую так любил Пушкин.

Увы, не много осталось здесь с тех давних времен. В густых зарослях травы белел старицкий камень — фундамент дома Прасковьи Александровны Осиповой. Того самого дома, в котором рождались строфы «Евгения Онегина», «Анчар», «Посвящение» к «Полтаве»... «... здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю», — писал Пушкин из Малинников Дельвигу осенью 1828 года.

Это ощущение радости приходит всякий раз на тропинках старого парка, спускающегося к речке Тьме.

День был таким солнечным и теплым, воздух так чист и свеж, что какой-то неизъяснимый восторг наполнял сердце. Хотелось громко говорить, смеяться, делиться охватившей тебя беспричинной и потому особенно острой радостью.

Долго бродили мы по еле заметным тропинкам парка. Потом собрались на большой поляне, и я сделал несколько снимков.

— Думаете, получится? — спросил Симонов. — А может, там и пленки-то нет! Знаю я вас, фотографов. Жаль, если ничего не выйдет: места прекрасные. Теперь мне понятно, почему он говорил: «Хоть малиной не корми, да в Малинники возьми». Ну-ка, снимите еще раз...

Я снимал всех вместе и одного Константина Михайловича, раскуривающего трубку возле старой одичавшей яблони, его с женой и дочерью...

Надо сказать, что это было делом нелегким: Симонов не любил позировать. Он все время говорил, шутил, смеялся, и поймать кадр, особенно такому «репортеру», как я, было трудно...

Не помню, кто и почему назвал вдруг фамилию профессора Саркизова-Серазини. Скорее всего это было связано с тем, что мы говорили, как хорошо жить в деревне, какой здесь целительный воздух. Иван Михайлович Саркизов-Серазини, как известно, был одним из основоположников лечебной физкультуры и спортивной медицины у нас в стране.

Услыхав эту фамилию, Симонов несколько раз повторил ее, вдруг предложил:

— Давайте сочиним стихи с рифмой к Серазини!

— Здесь рискованно рифмовать, — заметил Александр Зиновьевич.

— А вы не робейте! — подзадоривал Константин Михайлович. — Начинайте. Только вслух.

Он подошел к дочери, обнял ее за плечи и торжественно продекларировал:

У девицы Серазини
Женихом был сэр Разиня.
Каждый вечер у ворот
Он стоял, разинув рот.

Озорно глянул на нас и спросил:

— Ну как? Для начала годится?

Мы, захваченные его настроением, начали рифмовать.

Увы, экспромтов этих я не запомнил. Помню только, что Симонов был единодушно признан победителем. Принимая наши шуточные поздравления, он сказал:

— А вообще это грустная история: сэр девицу все-таки проворонил...

Юрий Леонидович поглядывал на часы: нас ждали в Бернове. Но Симонов не хотел уезжать из Малинников. Он опять вернулся к тому месту, где стоял осиповский дом. Присел на позеленевшие от времени камни, набил трубку и стал подробно расспрашивать об этой деревеньке. Слушал внимательно, не перебивая. Потом сказал:

— А может, все-таки стоит восстановить усадьбу? Понимаете, ведь дело не только в том, что тут бывал Пушкин. Не в самом этом факте. Здесь все пушкинское — природа, настроение, ощущение. Место удивительное. Здесь и думается, и дышится по-особому. И название-то какое — Малинники! Подумайте об этом серьезно.

Ветал, потрогал рукой нагретый солнцем камень — на ладони остался меловой след, словно прикоснулся он к школьной доске.

В Берново приехали после полудня.

Серафима Павловна Орлова — директор Пушкинского музея — еще не успела привыкнуть к тому, что ее родное село стало знаменитым, и потому, встречая гостей, волновалась, как девочка.

Тихо и пусто было в парке. В зеркале заросшего кувшинками пруда отражался вульфовский дом, старые липы. Слетали на тропинку, ведущую к горке Парнас, первые желтые листья. Приближалась осень. И потому, должно быть, рассказ о первой пушкинской осени в Бернове звучал особенно взволнованно и вдохновенно в маленьких комнатах сельского музея.

А ведь всего несколько лет назад никто и подумать не мог, что эта вот рубленая изба в старом парке станет Домом поэта.

Симонов не скрывал удивления и восхищения, рассматривая экспонаты, повествующие о тверских осенних досугах Пушкина. Старинное бюро, рукопись, книга, оплывшая свеча, рисунок каким-то волшебным образом сплывались в удивительно цельную, живую, по-домашнему уютную экспозицию, рождающую ощущение присутствия поэта.

Я знал, чего это стоило всем, кто создавал музей буквально на пустом месте, сколько бессонных ночей провел здесь Юрий Леонидович Карцелли, автор экспозиции, сколько выдумки, фантазии, вдохновения вложили он и его коллеги в работу; как щедро поделился с калининцами по инициативе Александра Зиновьевича Крейна Московский Государственный музей А. С. Пушкина; какие трудности пришлось преодолеть калининцам, чтобы в день рождения поэта сельский музей гостеприимно распахнул свои двери...

Запись, которую оставил Симонов в книге отзывов, давно уже стала одним из экспонатов музея. Несколько лет назад он справил новоселье в бывшем доме Вульфа. Теперь здесь просторно. Но, как и прежде, тепло и уютно. Тогда, прощаясь с хозяевами, Константин Михайлович пожелал им хранить именно эти, самые ценные качества музея: домовитость, уют, естественность обстановки...

Солнце стояло уже совсем низко, когда вышли мы на крыльцо.

— Давайте сфотографируемся на память все вместе, — предложил Симонов. Они выстроились у резных перил, а я спустился вниз, сокрушенно думая о том, что так и не попасть мне в кадры, запечатлевшие мгновенья этого удивительного августовского дня...

Через час, побродив по парку, поднявшись на любимую Пушкиным горку Парнас, мы попрощались с Берновом.

Возвратившись в Калинин, первым делом проявил я — не без волнения и страха — отснятые в поездке пленки и увидел, что переживал зря. Отпечатал кучу снимков, отправил Симонову в Москву. В ответ получил от него объемистый пакет, в котором была та самая книга «Двадцать дней без войны», начинающаяся словами:

«Возвращаясь на редакционной «эмке» из-под Ржева, Лопатин на обезде у Погорелого Городища попал под утреннюю немецкую бомбежку...»

1985

ОСЕНЬ В ДУБОВЫХ ЛЕСАХ

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР С ЮРИЕМ КАЗАКОВЫМ

Приезжая зимой в ближнее Подмосковье, я всегда беру в здешней библиотеке одну и ту же книгу — рассказы Юрия Казакова. Она изрядно потрепана, уголки страниц обмахрились, название на обложке стерлось и едва угадывается, словно не отмытая еще переводная картинка.

В оглавлении кто-то пометил карандашными галочками, должно быть, самое интересное для него: «Долгие крики», «Кабиасы», «Никишкины тайны», «Легкая жизнь», «Осень в дубовых лесах»...

Странно... Словно он знал, что это любимые мои рассказы.

Идет снег. Тихий, неслышный.

Сквозь его завесу едва угадываются лес на дальних холмах, домишки, разбредшиеся по склонам, замерзшая речка со скорбящими у лунок рыбками.

Стоит оглушительная, неправдоподобная тишина. И не верится, что совсем рядом сумасшедшее скоростное шоссе, на разных концах которого гигантские города.

Открываю книгу и забываю все на свете...

«Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому взял ведро, будто вовсе не надеюсь на ее приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось все у меня в ту осень».

Не знаю, почему рассказ этот — «Осень в дубовых лесах» — так действует на меня. Ни прежде, ни потом я не испытывал ничего подобного от чтения. Иногда мне даже кажется, что и езжу-то я сюда потому только, что именно здесь открылась мне сокровенная суть этих строк, таких близких, волнующих, значимых, словно все, что описано ими, происходило со мной и теперь, вновь пережитое, уже навсегда

осталось в моей судьбе, сделало жизнь радостнее и печальней, наполнило ее высоким смыслом.

И еще я всегда удивляюсь — наивно, конечно, — схожести пейзажей, их состоянию и настроению. Того — из книги, и этого — за окном.

«Поля на холмах были дымно-зелены издали и будто пересыпаны мукой, стога почернели, лес сквозил, был черен и гол, только резко проступал березовый белый частокол, бархатились и лоснились зеленою стволами осин, да кое-где по лесистым холмам цвели, горели еще последние красные шапки неопавших деревьев. Река сквозь лес была видна на большое расстояние и была пустынна и холодна на взгляд. Мы спустились вниз по снежному оврагу, оставляя за собой глубокие, сперва грязные, а потом чистые следы и стали пить из родника возле срубленной осины. В неподвижном бочажке родника плотно опустились на дно почерневшие кленовые и дубовые листья, а срубленная осина пахла горько и холодно, и древесина на срубе была янтарной».

Когда прочитал это в первый раз, долго не мог избавиться от ощущения, что пейзаж списан с натуры и что этим же оврагом ходил я слюкотной осенью и на душе у меня было тихо и покойно. И думал я, что, может быть, он бывал здесь когда-то, в том же доме с окнами на реку и холмы за ней. Думал так, хотя знал, что жил Казаков в Абрамцеве. А рассказ этот написал, когда не было еще у него своего дома, и обитал он в тесной московской квартире, которую часто покидал для дальних странствий: путешествовал, охотился, рыбачил.

Но магия слова была так сильна, что я верил в свой вымысел и, признаюсь, верю до сей поры с детским каким-то упорством. Может быть, потому, что это помогает мне жить счастливее и радостнее среди городской суеты и суматохи. Верю и всегда с благодарностью произношу это имя — Юрий Казаков.

Впервые встретил я его тридцать лет назад. Кто-то принес в аудиторию свежий номер журнала «Молодая гвардия», в котором был напечатан рассказ «Странник». Мы, считавшие себя большими знатоками литературы, и сами собиравшиеся послужить родной словесности, буквально опьянели, прочитав несколько страниц.

Теперь-то я понимаю, что нас, двадцатидвухлетних, пьянили тогда и кружили голову не только слова «Странника», но и само время, ощущение молодости в себе и в жизни, подтверждением которой явился этот рассказ. Он был подобен страннику, пришедшему из прошлого и зовущему в будущее, — так ново, так необычно было в нем все рядом с заурядными прописями солидных томов, в изобилии лежавших на прилавках книжных магазинов. Возможно, мы были несправедливы к этим томам и слишком уж восторженно приняли новичка. Но так было. И в нем мы не ошиблись, хотя многие кумиры той поры — где они ныне?

Я переписал «Странника» в тетрадку для конспектов: шел пятый год нашего пребывания в университете, мы не очень усердствовали и сво-

бодных страниц в ней было много. Не у одного меня рядом с эпизодами из истории дипломатии (нас, будущих журналистов-внутренников, тогда учили и этому) находились стихи Ваншенкина, Ахмадулиной, Евтушенко, Рождественского: мы жили далеко от Москвы и не все поэтические сборники доходили сюда.

Мы пытались узнать: кто он такой, этот Юрий Казаков? Откуда появился? Что еще написал? Но никто и не слышал о нем до этого рассказа, по крайней мере в нашем городе. Профессор, читавший нам когда-то литературу, в ответ на наши вопросы только развел руками. Впрочем, за год до этого он тем же жестом отвечал на вопросы о Платонове и Бабеле...

Прошло несколько лет. И вот в одной из журналистских командировок, в дальнем верхневолжском городке, я вновь встретился с Юрием Казаковым: в местном магазине «Культовары» попалась мне его книжка «По дороге», только что выпущенная «Советским писателем». И на обложке ее был тот же странник (так мне показалось), но самого рассказа в сборнике не оказалось. Зато был здесь другой, захвативший, очаровавший, как и тот, первый. Я читал его, и мне было хорошо в холодной и неуютной гостинице, в древнем этом городке, дремлющем у истоков великой реки, словно в моей жизни случилось что-то значительное.

Вместе с героем рассказа заведующим клубом Жуковым я испытал ужас таинственной летней ночи, и уже один наслаждался удивительной музыкой русского языка, магическим порядком слов на страницах книги, которые простой, сотни раз виденный пейзаж превращали в чарующий ландшафт...

«Слева виден был березовый лес — он уступами уходил к горизонту. Было похоже, будто кто-то по темному начиркал сверху вниз белым карандашом. Сперва редко, подальше — чаще, а в сумерках горизонта провела поперечную резкую светлую полосу.

Слева же видно было и озеро, как впаянное, неподвижно стоявшее вровень с берегами и одно светлевшее на всем темном. На берегу озера горел костер, и на дорогу выносило дым. Падала уже роса, и дым был мокрым.

А справа, в сумрачных лугах и просеках, между темными мысами лесов, с холма на холм шагали решетчатые опорные мачты. Они были похожи на вереницу огромных молчаливых существ, заброшенных к нам из других миров и молча идущих с воздетыми руками на запад, в сторону разгоравшейся звезды — их родины.

Я прочитал всю книжку и только потом обнаружил в ней предисловие. Увы, мне опять не дано было узнать, кто же он такой — этот удивительный мастер, с такой легкостью обращающий, подобно средневековому алхимику, неблагородное в благородное. Зато узнал я, что в «Северном дневнике» Юрия Казакова с присущим ему «интересом к повседневной жизни простых тружеников и любовью к родной природе... поэтически изображается наш Север, даются яркие образы колхозников,

рыбаков, оленеводов, живущих на берегах Белого моря, рассказывается о борьбе нового со старым в их жизни и труде».

Хорошо, что я прочитал это в последнюю очередь...

«Кабасы» надолго стали любимым моим рассказом. Я читал его друзьям, потом, когда подрос сын, рассказал ему в собственном изложении эту захватывающую сказку, не зная, что именно из слышанной Казаковым в детстве сказки и родились «Кабасы».

Прошло еще три года. На вокзале, в Уссурийске, уезжая из родного города, купил в киоске первый том «Библиотеки произведений советских писателей» — приложение к журналу «Сельская молодежь». Купил потому, что на обложке книги среди известных мне имен — Нагибин, Никитин, Солоухин, Тендряков — первым стояло имя Юрия Казакова. По алфавиту. А первым его рассказом в этом сборнике оказалась неизвестная мне прежде «Осень в дубовых лесах».

Медленно ходили тогда даже скорые поезда. Долго бежали за вагонным окном пейзажи Приморья. Лишь через сутки сменило их более строгое Приамурье, потом появлялась Сибирь — Даурия, Байкал... А мне все казалось, что бреду я приокскими лесами, припорошенными первым снегом, терпко пахнущими палым листом, не остывшей еще землей.

Много читал я потом рассказов Казакова — книги его в ту пору выходили часто, их можно было — теперь даже не верится — купить в магазине. Просто зайти и купить. Но ни тогда, ни после не испытывал я такого потрясения от прочитанного. Хотя и чему бы вроде потрясать в «Осени...». Встретились два человека, любящие друг друга. И только. И ничего больше, кроме русской осени да старого дома на берегу реки. Ни «борьбы нового со старым», ни «ярких образов оленеводов». Но почему же тогда так заходит сердце от этих спокойных строчек? Почему приходит ощущение радости жизни — неистребимой, торжествующей, захватывающей?

Вероятно, это можно объяснить. Но надо ли? Надо ли вообще, ссылаясь на Пушкина (всуе!), поверять гармонию алгеброй? Ведь для этой операции Сальери (не Моцарт!), «звуки умертвив», музыку «разъял как труп». Но искусство — не анатомичка...

Читая «Осень...» в поезде Владивосток — Москва, я наконец-то узнал, кто он такой — Юрий Казаков. Узнал прежде, чем увидел в конце тома коротенькую справку об авторе. Да и как было не узнать, прочитав вот эти строки:

«...Я пошел в угол, где на ремнях на стене висел приемник, и включил его. Среди треска и бормотания дикторов я искал музыку. Я знал, что она должна быть, и нашел ее. Низкий мужской голос что-то сказал по-английски, потом была пауза, и я понял, что сейчас станут играть.

Я вздрогнул, потому что с первого же звука узнал мелодию. Когда мне хорошо или, наоборот, больно, я всегда вспоминаю эту джазовую мелодию. Она чужда мне, но в ней звучит какая-то тайная мысль и не

понять, печальна она или радостна. Я часто вспоминал ее, когда ехал куда-нибудь, когда что-нибудь меня радовало или, наоборот, угнетало...

Я подтащил шубу к приемнику, и мы сели на ней рядом, обнявшись. Все эти месяцы в душе моей жило чувство потери, а теперь я все нашел, и найденное было даже лучше, чем я мог предполагать.

Элегически бормотал контрабас, отыскивая во тьме свои контрапунктические ходы, блуждая в неразрешимости, поднимаясь и опускаясь, и мне его медленный ход напоминал звездное небо. А прислушиваясь к нему, жаловался на что-то саксофон, снова и снова забиралась в неистовые верха труба, и рояль время от времени входил между ними со своими квинтовыми апокалипсическими аккордами. И как метроном, как время, раскладывая ритм на синкопы, мягкими пустыми ударами подчинял себе все ударники».

Вот эти слова и выдали его: музыкант! Конечно, музыкант, иначе как бы смог он почувствовать магию этих квинтовых аккордов?! И дело здесь не в терминах, а в точно переданных ощущениях, недоступных дилетанту.

Догадка моя подтвердилась, когда прочел я короткое описание его жизни:

«Юрий Павлович Казаков родился в Москве в 1927 году. Учился в музыкальном училище, затем поступил в Литературный институт имени Горького, который окончил в 1958 году.

Первые рассказы молодого писателя — и в особенности «Арктур — гонимый пес» — уже тогда обратили на себя внимание читателя и литературной общественности. Много говорилось и писалось о мастерском обращении автора со словом и фразой, о четкой поэтической обрисовке характеров самых различных героев, о психологической мотивировке их душевных движений и поступков».

Прочитав это, я порадовался, что восторг мой не так уж и наивен, и огорчился, узнав, что в пристрастиях своих выпадаю из рядов «литературной общественности», очаровавшись рассказами, которые тут и не упоминаются. А если говорить серьезно, то с той поры я стал собирать все, что было связано с именем Казакова — книги, журналы, газеты (он печатался в «Правде»), статьи, рецензии. Я узнал, что в Гнесинском училище он упорно осваивал контрабас. Вот откуда, оказывается, пришли в «Осень...» контрапунктические ходы! Может быть, к тому времени, когда писался этот рассказ, с его пальцев еще не сошли мозоли от упругих, апокалипсически гудящих струн.

Я узнал... Впрочем, не стану больше говорить об этом, ибо теперь то, что собирал я по крупицам, хорошо знают все, кто его любит. Да и совсем необязательно знать все о писателе. Достаточно его книг, ибо там — вся жизнь и лучше о ней никто и ничто не расскажет.

Сейчас мне самому кажется странным, что за все эти годы я не написал о Казакове ни строчки. Не о нем самом, о его книгах. О других — не таких любимых и близких — писал довольно часто.

О нем — никогда. Вероятно, потому, что не смог бы, не сумел сказать того, что хочу, счел бы кощунственным анализировать «положительные образы», «описания русской природы», «горячо любимого им Севера». Я не критик и не очень-то способен подчинять эмоции разуму. Я любил его и делился этой любовью устно — с близкими, друзьями, коллегами. И мне этого хватало.

Не хватало одного — увидеть Юрия Павловича Казакова, сказать ему «здравствуйте!», пожать его руку. Мне не стыдно признаться, что я мечтал об этом и в мечтах своих много раз говорил с ним о «Страннике» и «Кабиасах», об «Осени...», о том, как ловил он на Севере семгу...

Оказавшись в Москве, я стал искать среди своих знакомых тех, кто был дружен с Казаковым. И нашел. Однажды Владимир Амлинский, выслушав сбивчивый мой монолог, сказал:

— Чудак, что же ты раньше молчал? Мы же вчера видели с тобой Юру. Я не знал, что ты с ним не знаком.

Вчера... Я вспомнил, что вчера на улице Герцена, у Центрального Дома литераторов, мы действительно раскланились с человеком, похожим на Казакова. Амлинский — дружески, приветливо, я — машинально. Но как мне было узнать его, если и видел-то я две-три фотографии Казакова в книгах, да и то старые, юношеские.

Время шло. Случай не представлялся. Я положился на судьбу. И она одарила меня.

Он сидел за пустым столом в кафе писательского клуба, пил минеральную воду и курил «Беломор». Грузный, с усталым и грустным лицом. Пришел на чай-то вечер, не высидал и решил дожидаться окончания здесь. К нему то и дело подходили, здоровались. Он молча кивал и, докурив одну папиросу, тотчас же доставал из пачки новую. Я сидел рядом. Я уже знал, что это Казаков и что нельзя упускать этот счастливый случай. Но как это — взять вот так, подойти и сказать: здравствуйте, я вас люблю? Глупо, народу полно кругом, засмеют.

Я сидел, терзался, проклинал себя за нерешительность, а он, судя по всему, собирался уходить. Слава богу, к его столу присел кто-то хорошо знакомый ему, судя по тому, как оживленно они заговорили, как улыбнулся Казаков.

Помог мне Юрий Нагибин. Нет, его не было здесь в тот майский вечер. А если бы и был, то вряд ли я обратился к нему. И все-таки помог именно он. Незадолго до этого прочел я в «Литературной России» заметки Нагибина о Сергее Лемешеве, которого он горячо любил, чьим талантом восторгался. Жили они, если я не ошибаюсь, в одном доме, но знакомы не были. Сколько раз, встречая Лемешева, собирался Нагибин подойти к нему и сказать: «Здравствуйте, Сергей Яковлевич!», но так и не решился. А когда одолел, наконец, проклятую эту неловкость, было уже поздно...

Я встал, подошел к Казакову и сказал:

— Здравствуйте, Юрий Павлович!

Он посмотрел на меня с досадой и удивлением — еще одному нейдет, — ничего не ответил, лишь кивнул машинально.

Терять мне было нечего, и я сел, не ожидая приглашения.

— Ну чего тебе? — спросил он не очень-то приветливо.

Мне казалось раньше, что, случись такое, я скажу ему все, что передумал и перечувствовал, читая его рассказы, скажу красиво, вдохновенно и что это понравится ему и он заговорит со мной, как с давно знакомым ему человеком. И вдруг — «Ну, чего тебе?» Может, лучше уйти? Но за моей спиной стояла тень Нагибина. И тогда я произнес вторую фразу:

— Я люблю ваши рассказы и считаю вас великим писателем.

Он пристально посмотрел на меня и, как мне показалось, смущенно сказал, скорее крикнул даже, но не сердито, а растерянно:

— Ну ты брось это! Брось! Слышишь? Брось!

Его сосед по столу словно эхо повторил:

— Ты это брось, слышишь?

Казаков ответил ему неожиданно зло:

— А ты молчи! Он не с тобой разговаривает, — и повернувшись ко мне: — А ты садись.

И снова умолк.

Но так как я уже сидел, то решительно не знал, что же мне делать дальше...

У читателя может возникнуть вполне резонный вопрос: как это автор умудрился запомнить все реплики? Я их и не запомнил. Я записал. Сразу же, как только закончился этот оставшийся неоконченным разговор. Не для истории, не для мемуаров — у меня на них просто нет права. Для себя. По давней привычке и еще по совету Бориса Николаевича Полевого, который при любом случае и не мне одному говорил: «Записывайте, старик, не надейтесь на память, она может подвести. Я вот всю жизнь веду записные книжки. Из них родились многие мои книги». Я старался следовать его советам и не раз с благодарностью вспоминал мудрого этого человека.

Так что в разговоре моем с Юрием Казаковым, вернее, в том его фрагменте, что воспроизведен в этих заметках, нет вымысла. Это, по сути дела, стенограмма довольно долгой нашей беседы, которая оказалась совсем не такой, какой представлялась мне в мечтах. И решился я опубликовать ее вовсе не потому, что это льстит моему самолюбию. Просто я хорошо осознаю, что говорил с большим писателем. И разговор этот, не имевший цели, кроме него самого, может быть интересен для читателя, особенно читателя казаковского.

У него в этот вечер было хорошее настроение. А его первая реакция на мое появление, как я вскоре понял, объяснилась тем, что я выпрыгнул словно черт из табакерки.

— Ты не сердись, — сказал он. — Знаешь, я отвык от таких слов. Все здороваются, но никому не интересно, как я живу, что у меня на душе. «Здравствуй, Юра!» — вот и все. Возьми-ка еще минеральной.

Я взял, а когда вернулся, он был за столом уже один. Вечер наверху должно быть закончился — в кафе стало тесно и шумно. И я подумал, что теперь нам не поговорить. А тут еще, увидев Казакова, подошел Расул Гамзатов, громко восклицая:

— Здравствуй, Юра, здравствуй, великий классик! Я люблю тебя, Юра, очень тебя люблю. Ты — замечательный.

Они обнялись и расцеловались.

— И я тебя люблю, Расул, — сказал Казаков. — Слушай, пригласи меня в Дагестан. Я очерк напишу.

Гамзатов улыбнулся:

— Юра, дорогой, друзей не приглашают в гости для того, чтобы они написали о хозяевах. Я приглашаю тебя к себе, домой. Просто так, как друга.

— А почему раньше не приглашал?

Я видел, что это игра двух старых друзей, которые не впервые говорят об этом, игра, приятная обоим.

— Юра, — продолжал Гамзатов, — я долго не решался сделать предложение своей невесте: боялся, что откажет. Потому и тебя до сих пор не приглашал, боялся, что не приедешь, времени не найдешь. Теперь вижу, что серьезно собираешься. Я тебя люблю и приглашаю к себе. Приезжай, Юра, буду ждать...

Они снова обнялись, и Гамзатов ушел. Казаков еще долго сидел молча, пил воду, курил. Потом сказал:

— А ты что, только воду пьешь всегда?

Восприняв это как намек, я встал, но он взял меня за руку:

— Садись, это всегда успеем. Ты ведь поговорить хотел? Да? А о чем говорить будем? И кто ты вообще, откуда?

Услышав мой ответ, воскликнул так громко, что обернулись сидевшие за дальними столами:

— Ах, из «Юности»! Вот оно что! Знаю ваш журнал. Там сейчас Дементьев редактор. Ну и чего же ты хочешь от меня? Рассказ?

Я видел, что он начинает злиться, и, неожиданно разозлившись сам, резко ответил:

— Да, рассказ. Хотя бы один. Но можно два, можно и три. Поставим прямо в номер.

— Прямо в номер? — Он улыбнулся, потный большой лоб его пошел добрыми морщинами. — А откуда ты знаешь, о чем будет мой рассказ? Может, его и печатать-то нельзя. А?

— Так уж и нельзя... Вы сначала дайте.

— А я уже давал, — весело ответил он. — Давно, правда, еще при Катаеве. «Звон брегета» приносил. Не напечатали. Вы тогда Аксеновых и Гладилиных любили и печатали. А мне вернули. Ну, а кого сейчас любите?

Я боялся, что Казаков вновь рассердится, так яростно сдернул он старомодные, какие-то старушечьи очки, вынул из кармана скомканный платок и с остервенением стал вытирать лысину.

Мы помолчали. Он больше не задавал мне каверзного своего вопроса и теперь уже спросил я:

— Юрий Павлович, а у вас есть рассказы?

— Слушай, — ответил он, — ты кончай официальщину: «Юрий Павлович», «вы»... Так разговора у нас не получится. Давай на «ты» и прямую, понял? А рассказы у меня есть, очерки есть, только неотделанные. Трудно стало работать. Болезнь у меня, знаешь, такая появилась — диабет. Очень трудно работать. Ты вот говоришь, что любишь мои рассказы. Да? А что ты любишь?

— Все люблю!

— Да брось ты! Опять за свое. Ты мне один-два назови, ну?

— «Кабиасы», «Осень в дубовых лесах»... Потрясающие рассказы.

— Потрясающие? — Он рассмеялся. — Вот ты говоришь: потрясающие. А знаешь, что с «Кабиасами» было? Не знаешь? Да теперь уже мало кто это помнит. Но я помню. Фельетон обо мне за этот рассказ в «Крокодиле» напечатали. Понял? Фельетон! Я-то ничего, стерпел, а вот мама и папа ужасно огорчились. Ведь о ком фельетоны пишут — о жуликах, ворах разных. После этого фельетона мои рассказы из «Октября» и других журналов повыкидывали. А ты говоришь «Кабиасы»... Это теперь все так просто, а тогда тяжело мне было. Представляешь, фельетон?

Я видел, что он взволнован и молчал. Он курил, снова снимал и надевал очки, снова вытирал череп. Потом я снял свой темно-синий, добротный, дорогой, но тоже старомодный пиджак, накинул его на спинку стула и остался в одной рубашке.

— Вот такая история с «Кабиасами», — снова заговорил после долгой паузы. — А тебе они действительно нравятся? Я уже когда-то рассказывал про них. Сказку в детстве слышал, запомнил. Что-то в жизни увидел. Знаешь, я много ездил, ходил, всяких людей встречал.

— А «Осень...» автобиографична? — задал я вопрос, который давно вертелся у меня на языке.

— Ни черта! — выкрикнул он и, словно испугавшись, оглянулся, потом наклонился ко мне и тихо, почти шепотом сказал: — Это все я придумал. Не веришь? Все придумал. Молодой я был тогда, много придумывал, да и писал много. Знаешь, обидно мне: вот говорят где-то — не то во Франции, не то еще где-то выпустили три тома моего собрания сочинений. А у нас нет. Сейчас в Гослите выходит однотомник. Опять однотомник... Правда, я мало пишу, да и ездить никуда не могу... А неотделанного много. Трудно теперь мне писать. Старое не перечитываю и не трогаю, хотя и не все получилось. Сейчас по-другому бы написал. А ты говоришь — классик. Ты это брось! Рассказ для «Юности» найду, только вот отделать его надо. Ты не сердишь, что я шумел на тебя. Зна-

ешь, не люблю, когда пристают... Ну ладно, ладно, лучше проводи — поздно уже. О рассказе для вас напомни. Ну пошли, я тут рядом живу...

Он надел пиджак, взял со стола почти пустую пачку «Беломора», и мы пошли.

Разговор наш, начавшийся так нелепо, остался неоконченным и завершился ему было не суждено. Вскоре Казакова не стало.

Я еще о стольком хотел спросить его. Я знал, что не все в его жизни было просто. И фельетон о «Кабасах» был не самым большим огорчением. Нет, не все в его рассказах придумано. Должно быть, и потому еще греют они душу, что описанное в них с таким поразительным мастерством пережил он сам...

На дворе октябрь. Скоро снова поеду в облюбованный мною уголок Подмосковья. Снова будет знакомый дом, знакомый пейзаж за окном. Я возьму в библиотеке ту же книгу, где под обложкой среди других — и «Осень в дубовых лесах», отмеченная кем-то карандашной галочкой. И начну читать вот с этих строк:

«Ночь была вокруг меня, и папироса, когда я затягивался, ярко освещала мои руки, и лицо, и сапоги, но не мешала мне видеть звезды, а их было в ту осень такое ярчайшее множество, что виден был их пепельный свет, видна была освещенная звездами река, и деревья, и белые камни на берегу, темные четырехугольники полей на холмах, и в оврагах было гораздо темнее и душистее, чем в полях.

И я подумал тут же, что главное в жизни не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или восемьдесят лет, — потому что этого все равно мало и умирать все равно будет ужасно, — а главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей.

1986

ШЕСТЬ СТРАНИЧЕК

Если когда-нибудь я напишу книгу о Борисе Полевом, чего мне очень хочется, это будет веселая книга. Потому что он терпеть не мог ложного величия, занудства долгих речей, риторики, напыщенности...

Почти четверть века знал я этого удивительного человека. Судьба подарила мне шесть лет совместной с ним работы в журнале «Юность», где он был капитаном отлично оснащенного корабля, а я начинал юнгой под его присмотром и опекой. Он schoлил свою немногочисленную команду, но это была хорошая школа...

Остались в памяти не только дни журнальной службы, но и долгие наши беседы в его родном Верхневолжье, на пушкинских тропинках, которые он знал и любил. И это тоже была школа... Теперь в Калинин есть литературный маршрут «Тропа Бориса Полевого». И о ней я тоже

хотел бы рассказать в книге. Но книги пишутся долго, а долги, особенно долги памяти, надо платить по возможности быстрее. Отсюда эти беглые заметки.

Он не любил юбилейных статей. И когда близилась знаменательная дата в жизни какого-нибудь известного писателя, говорил нам, сотрудникам «Юности»:

— Давайте, братцы, соорудим дружеский шарж. Повеселее, с перчиком. Я знаю юбиляра, он человек с юмором и не любит подробного перечисления собственных достоинств...

На вечер, посвященный шестидесятилетию Константина Симонова, он отправился с картинкой, на которую был наклеен портрет писателя, сделанный известным карикатуристом и уже заверстанный в ближайший номер нашего журнала с подписью, приправленной «перчиком» и другими пряностями.

Нас все-таки несколько смутил подарок. Но Борис Николаевич успокоил:

— В Симонове я не сомневаюсь — не прогонит, будьте уверены. А вот вы, братцы, меня пугаете: работаете в молодежном журнале, а в шутку не верите.

С тем и ушел.

А на другой день с гордостью рассказывал:

— Хороший был вечер. Костю у нас любят. Адресов навручили — добрую сотню. Он их брал, благодарил и складывал горкой. А нашу картинку посмотрел, прочитал, рассмеялся и залу показал. Так-то! Юмор, друзья мои, штука необходимая. Без него закиснешь...

Конечно, отношение Бориса Николаевича Полевого к шутке, остроуму словцу — всего лишь деталь, один штрих к портрету большого писателя и большого человека.

Улыбка, юмор часто помогали ему решать самые сложные вопросы, разряжать поистине взрывоопасные ситуации. Знаю об этом не от него, а от тех, кто в этих ситуациях был рядом с ним и потом, когда грозовые тучи уплывали за горизонт, с облегченным вздохом говорил: «Это мог сделать только Полевой!»

— У него своя система юмора, — заметил однажды Ираклий Луарсабович Андроников. — Он ничего не придумывает заранее. Все получается само собой. Это дар, как голос у Лемешева. Дар редкий, а потому особенно ценный. Люблю слушать Полевого. Помню, как однажды...

Это «помню, как однажды...» по отношению к Борису Николаевичу доводилось слышать от многих людей. Его шутки записывали, вставляли в книги, порой без ссылки на автора. Он не сердился, ибо был щедр в этом, как и во всем остальном.

Известно, что Б. Полевой любил изобразительное искусство. Среди его друзей были Мухина и Жуков, Эрзя и Коненков, Кент и Гуттузо,

Пикассо и Сикейрос... Он позировал многим выдающимся мастерам. Но больше всего любил свои портреты, сделанные Кукрыниксами, Житомирским, Игиным... Эти дружеские шаржи и карикатуры Борис Николаевич не убирал в «пыльные ящики», они висели на стенах его кабинета на Беговой. Парадные же портреты показывать не любил.

Каждый год, в день его рождения, «Юность» дарила своему главному редактору дружеский шарж. И это был желанный для него подарок. Особенно нравился ему рисунок, на котором он изображен в образе мудрой бабушки, вяжущей чулок и присматривающей за резвящимися вокруг «юниорами», как называл он коллег по журналу. Думаю, что дело было не только в остроумном, озорном рисунке, но прежде всего в том, что он очень любил «Юность», которой отдал почти двадцать лет жизни. Не хочу повторять банальное «журнал был для него вторым домом». Дом у него был один — тот самый, что отмечен теперь мемориальной доской. Дом на шумной Беговой, в котором рождались его дети и его книги. Но и наш старый особняк на площади Маяковского он любил искренне и верно. Любил хлопотную, трудную редакторскую работу, небольшую комнату с выдавшей виды старомодной мебелью, которую каждый новый заведующий редакцией тщетно пытался заменить гарнитуром, соответствующим, по его представлению, рангу и положению хозяина этой комнаты. Но он не любил менять ни мебель, ни привычки. Он одинаково радушно принимал и робкого новичка, принесшего сюда свою первую рукопись, и маститого мастера. Вот один лишь пример.

Двадцать лет назад — подумать страшно, как давно это было! — приехал я из Калинина, чтобы взять интервью у Полевого в канун его шестидесятилетия для газеты «Смена», где когда-то начинал он как журналист. В долгой той беседе Борис Николаевич среди прочего посоветовал мне: «Обязательно ведите записную книжку. Все забывается, даже самое значительное и интересное. Многие мои книги родились из дневников. Не ленитесь, старик, записывайте».

С тех пор я неизменно следую этому совету. И уже не раз с благодарностью вспоминал моего наставника. Вот и теперь отыскал один из старых блокнотов, помеченных 1975 годом. А толкнуло меня к этому письмо Полевого. В его конверте оказалась написанная совсем другим почерком записка: «Уважаемый Алексей Степанович! Прошу извинить меня за большую правку, но она была совершенно необходима.

Понимаю, что создаю Вам трудности, но куда денешься...

Попросите отнести все это за мой счет, пожалуйста.

Ваш Ал. Каплер.

Иллюстрации мне очень нравятся».

Прочитав записку, отыскал я старый блокнот. Вот что оказалось в нем на страницах, помеченных 12 августа 1975 года.

«В коридоре редакции столкнулся с Полевым.

ПОЛЕВОЙ. Куда это вы спешите, старик? Ах, не спешите? Тогда валяйте ко мне, у меня там Каплер сидит. Вы с ним знакомы? Нет? Ну тогда найдите его рассказы и заходите.

Рассказы отыскиались в отделе прозы у Озеровой — она их редактирует. Беру, бегу к Полевому. Он представляет меня Каплеру — седому, улыбающемуся, в клетчатом костюме.

ПОЛЕВОЙ. Вот вы, Алексей Яковлевич, конечно, не помните, как мы познакомились, а я помню.

КАПЛЕР. Ну как? Не томите. Я ведь действительно не помню. Вот стыд какой!

ПОЛЕВОЙ. Мы тогда с тверским моим другом Гуревичем написали сценарий. Это было перед самой войной. Поехали в Ленинград, на киностудию. Там сценарий посмотрели и отправили вам на рецензию. Через несколько дней отправились мы к Каплеру с дрожью в коленках. Еще бы! К самому Каплеру! Заходим удивленные, что нас впустили к самому Каплеру...

КАПЛЕР. Ну, ну, не тяните! Я ведь, ей-богу, ничего не помню! Это что, и вправду было или вы все придумали?

ПОЛЕВОЙ. Да уж, поверьте, старик, было. Ну, входим к вам в кабинет. Вы лежите на тахте на фоне яркого персидского ковра...

КАПЛЕР (смеется). Неужели на фоне ковра? Невероятно, но вы и ковер помните!

ПОЛЕВОЙ. Так ведь это был ковер самого Каплера! Разве забудешь! А сценарий наш вы зарубили. Правда, вполне справедливо, претензий нет...

КАПЛЕР. Дорогой Борис Николаевич! Чтобы снять грехи с моей души, вы должны были сегодня встретить меня, лежа вот на этом диванчике, и зарубить мои рассказы, которые, как я понимаю, держит в руках вот этот молодой человек.

ПОЛЕВОЙ. Не будем сводить счеты, дорогой Алексей Яковлевич. Да и ковра у меня в кабинете нет. А без этого не тот эффект!

Потом они долго и весело хохочут».

Случайная, в общем-то проходная сценка, если иметь в виду большую, интересную, яркую жизнь Бориса Полевого. Увы, не все в ней было так весело и безоблачно. Он тоже испил горечи, ибо был прямым, открытым, интеллигентным, ранимым. Но горечь эта не замутила, не отравила его душу, не остудила сердце, не погасила юмора, не стерла его доброй улыбки. И мне, и сотням других людей он помнится и будет помниться легким в общении, стремительным, увлеченным человеком, которому к лицу были и элегантный смокинг с бабочкой, и старый — в резинку — синий свитерок, такой любимый, такой привычный...

Он был Героем Социалистического Труда. Но нам, тем, кто работал с ним, кто был одарен радостью видеть его почти ежедневно, напоминала об этом не сама Золотая Звезда, а небольшая дырочка на его пиджаке.

Можно долго рассказывать о том, как он любил журнал, как охотно «возился» с молодыми, доводя их «до кондиции». Но, думаю, что достаточно привести единственное, однако, на мой взгляд, самое убедительное свидетельство этой любви.

Борис Николаевич был уже тяжело болен. Врачи категорически запретили ему работать и редакцию строго предупредили, чтобы никаких рукописей и версток в больницу ему не посылали: все равно не дойдут до адресата. Однако прошло всего несколько дней, и я получил вот эту телеграмму: «Редакция журнала «Юность». Ответственному секретарю. Прошу срочно передать мне гранки съездовского номера. Можно с Юлей (жена Б. Н. Полевого. — А. П.), которая сегодня будет у меня. Привет всем юниорам... К себе не приглашаю, потому что не имею настоящего товарного вида. Ваш Полевой».

По известным уже причинам просьба эта не была выполнена. Через два дня пришла вторая телеграмма: «Настаиваю немедленно выслать третий номер «Юности», своевременно присылать верстки. Полевой».

Должно быть, Борису Николаевичу удалось уговорить кого-то послать телеграммы в редакцию — последние подписанные его именем строки. Казенные эти бланки ярче и глубже любых других свидетельств (а их многие сотни) говорят о том, какой это был человек и какой редактор...

Сейчас, стоя около устья могучей реки, невольно обращаешься к ее истокам. И хотя отдалены они от нас временем и расстоянием, но их совсем нетрудно разглядеть: Б. Полевой часто и охотно говорил о корнях, кои держат человека, о земле, на которой вырос, стал писателем. Автобиографические сведения рассыпаны по многим его книгам. Но есть среди них одна, которую с полным основанием можно назвать автобиографией Бориса Полевого, вписанной (подчеркну — скромно и достойно) в биографию Советской страны. Эта книга — «Самые памятные». Она имеет подзаголовок: «История моих репортажей». А поскольку журналистика была для Полевого одним из главных его призваний, то подзаголовок к этой книге мог быть: «История моей жизни».

Довольно часто он приходил в редакцию до начала рабочего дня. Эти часы Борис Николаевич отдавал главным образом письмам, которыми был завален его стол. Читал, писал и диктовал на машинку ответы. Однако в тот раз писем на столе не было. В самом центре его лежала толстая стопка исписанных зеленым (всегда только зеленым!) фломастером листов. Поверх нее — страничка с четко выведенным заголовком: «Самые памятные».

Борис Николаевич, одетый в элегантный темно-синий костюм, при галстукe, колотом его любимой самодельной булавкой из кипрской ракушки, был торжествен и радостен. Здороваясь, он по всем известной в редакции привычке ткнул меня кулаком в плечо и сказал:

— Вот закончил самую дорогую мне книгу. А потому сегодня у меня праздник.

Взял рукопись, подержал, будто взвешивая, снова положил на стол.

— Вам тут многое знакомо (мы с ним были земляками.— А. П.), по крайней мере в первой части. Так что вы уж не откажитесь прочесть, если, конечно, пожелаете...

Нужно сказать, что у него был поистине уникальный почерк, доступный для прочтения трем-четырем людям на земле. Даже его короткие записки требовали порой длительной расшифровки. А тут лежало передо мной страниц около пятисот! Борис Николаевич перехватил мой испуганный взгляд и рассмеялся:

— Нет, нет, не сегодня. Вот Лидия Кузьминична перепечатает, и тогда уж...

Теперь этот изящный томик лежит на моем столе. Титульный лист его исписан, все тем же зеленым фломастером. Строки, оставленные рукой Полевого, и напомнили мне то, кажется, совсем недавнее солнечное московское утро. Он тогда сказал: «Это моя последняя...» Но кто же ему верил?!

Итак, истоки. Чтобы прикоснуться к ним, откроем его любимую, его последнюю книгу.

«Писать о себе репортеру так же трудно, как, скажем, хирургу делать самому себе операцию. Однако подобные операции в дни войны в экстренных случаях производились. Попробую и я. Итак, родился я 17 марта 1908 года в городе Москве, но вырос, учился, приобщался к труду, к журналистской профессии, написал первую свою книгу в Твери, по-теперешнему говоря, в Калинин, и потому не без основания считаю себя тверяком, калининцем».

Так и написано — «не без основания». А ведь к этому времени Полевой, очень много доброго сделавший для родного края, для своих земляков, носил звание почетного гражданина города Калинина...

Литературный дебют паренька с прославленной Пролетарки, журналиста «с авантюрой», был отмечен доброжелательством и вниманием Горького, откликнувшегося на книжку с «ужасающим названием» «Мемуары шившего человека» письмом добрым и строгим, отрезвляющим и поощряющим.

Эти шесть горьковских страничек, помеченных 1927 годом и решивших его судьбу, Б. Полевой знал наизусть. Много лет спустя в своей книге «Силуэты» он писал:

«Помню, схватил это письмо, убежал на набережную Волги, на тот самый ее конец, где иссякал город и начинались пустыри, сел на какое-то бревно и снова и снова перечитывал слова: «...Так же, как токарь по дереву или металлу, литератор должен хорошо знать свой материал — язык, слово...», «Вам не надо торопиться хвалить друг друга...», «Учиться надо, товарищ, учиться». Эти фразы так вросли в память, что и сейчас вот, сорок пять лет спустя, я легко воспроизвожу их, не боясь ошибиться даже в запятых...

Для моей же судьбы письмо это было решающим. Я понял, что литература, журналистика — профессии сложные, серьезные, требующие труда и максимальной самоотдачи, что нельзя ими заниматься между делом, что надо им отдаться целиком».

«Уроки Горького» откликнулись уже в литературном дебюте Б. Полевого — повести «Горячий цех», напечатанной в 1939 году в «Октябре» при участии Ф. Панферова. Трогательной и о многом говорящей была его привязанность к своему первому столичному журналу: большинство новых рукописей Борис Николаевич нес в «Октябрь». А ведь ему было из чего выбирать...

«Горячий цех», посвященный делам калининских вагоностроителей, принес ему известность. Но писателем Б. Полевого сделала война, которую прошел он — от первого дня до Дня Победы — с удостоверением фронтового корреспондента «Правды». Все увиденное и пережитое аккумулировалось в небольшой по объему книге, которая явила нашей литературе большого писателя, — «Повести о настоящем человеке».

Потом была книга рассказов «Мы — советские люди», романы «Золото», «Глубокий тыл», «На диком берегу», повести «Вернулся», «Доктор Вера», «Анюта», публицистические сборники и книги репортажей — «Современники», «Американские дневники», «За тридцать земель», «30 000 ли по Китаю», «В конце концов. Нюрнбергские дневники», «Силуэты»... Были сценарии и фильмы, пьесы и даже опера. Были высокие звания, высокие премии. Было признание читателей родной страны и всей земли, которую объездил он как журналист, писатель, посланец мира и дружбы, полпред Страны Советов.

Было все, что делает человека счастливым. И он был счастлив. Своими книгами, своей семьей, своей работой, своей жизнью, неотделимой от жизни народа.

Но послушаем его самого:

«Всю литературную жизнь я прожил среди своих героев. Помню их, с некоторыми дружу, встречаюсь, с иными переписываюсь, слежу за их судьбой. Что там ни говори, жизнь — талантливейший соавтор. Она порой создает такие характеры, такие обстоятельства и повороты судеб, до каких порой не додумается и литератор с самым пылким воображением».

Это — из «Самых памятных». Закончил он свой последний в жизни репортаж просто:

«...Я хочу дать совет всем товарищам по профессии, всем молодым людям, мечтающим о литературном будущем: идите в газету, проходите школу литературы.

Я же, старый газетчик, когда придет мой час поставить большую точку в жизни, смогу с удовлетворением сказать:

— Я увидел, что смог, и описал, как сумел».

Борис Полевой видел многое: рождение нового мира и становление новой жизни; героизм народа, эту жизнь отстаивающего; великий послевоенный трудовой подвиг советских людей; их борьбу за свое сча-

стве и счастье народов Земли. Он был участником больших дел и событий. И рассказал о них, как сумел. А сумел он это сделать талантливо и честно.

1983—1988

«Я ВИДЕЛ ВСЯЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ...»

Он был верен русскому слову, русской природе, русскому советскому человеку.

Николай ТИХОНОВ.

Летом 1973 года я часто приходил в этот дом на улице Горького. Вроде бы можно было уже и привыкнуть, но, оказавшись у дверей квартиры № 9, волновался, топтался на коврике, вытирая и без того чистые башмаки и все не решаясь нажать пуговку звонка. Ведь за этой обыкновенной дверью некогда жил человек, который стал для меня одним из самых любимых писателей.

Мальчишкой в дальневосточном селе Павло-Федоровка прочитал я впервые «Угрюм-реку» и был потрясен. В эту бездонную пучину чужой мне жизни я, пацан, нырнул всего-то на метр, не больше, но и там захлебнулся прежде не испытанным чувством. Теперь я знаю: это было чувство счастья. Редкостное, загадочное состояние человека. А тогда я убежал на ближнюю сопку, полыхавшую бледно-сиреневым пламенем, словно кто-то плеснул на нее спирта и бросил спичку. Цвел багульник...

И вот в квартиру этого человека, написавшего потрясшую меня книгу, в квартиру Вячеслава Яковлевича Шишкова я и ходил тем летом, накануне его столетия, ибо составлял книжку о замечательном тверяке. И ближайшей моей помощницей была его-вдова — добрейшая и милейшая Клавдия Михайловна. Она всегда встречала накрытым столом, улыбкой и начинались долгие часы бесед в доме, где все напоминало о Шишкове. И его старенькая пишущая машинка, и книги на полках, и картины на стенах...

Как это ни странно, но именно отсюда, с улицы Горького, началась для меня дорога к Шишкову. Началась рассказами Клавдии Михайловны, архивами писателя, его письмами... И привела опять же в Верхневолжье, к истокам этой необычной судьбы, этой прекрасной жизни выдающегося художника.

ЛОЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

Дед, узнав о его решении, страдал: погибнешь ни за грош в этой глухомани, комары съедят, медведи задерут; Сибирь — каторжное место.

Но в двадцать лет дальние дороги не пугают, да еще если выбрал ты их своей профессией, если в кармане у тебя только что полученный диплом.

В 1894 году выпускник Вышневолоцкого технического училища Вячеслав Шишков выехал в Томск на службу по Округу путей сообщения. За плечами — строительная практика в Новгородской и Вологодской губерниях, в послужном списке — рекомендации, отмечающие широкие познания молодого гидротехника, упорство, прилежание.

Не гадал, надолго ли, но знал, что всерьез. Сибирь манила огромными необжитыми пространствами, возможностью принести пользу Отечеству.

...Пять лет самоотверженного труда рядовым техником-съемщиком. Романтические мечты развеялись, столкнувшись с реальной жизнью в «каторжных краях». Но стремление изучать их, проторить надежные пути к несметным богатствам еще более окрепло. Шишков успешно держит экзамен на право самостоятельного производства инженерных работ и выезжает на Обь-Енисейский канал. Годом позже изучает водные пути на реках Чарыш и Чулым, затем отправляется на Иртыш, исследует пороги Енисея, участвует в работах по укреплению берегов Лены.

Жизнь его трудна, полна лишений и опасностей. А на родину идут письма с диковинными адресами, полные заботы о близких. В одном из них фотография — Шишков с группой рабочих и техников. Она сделана в Якутии и помечена 1909 годом.

Всматриваешься в снимок и не можешь избавиться от ощущения, что будущий писатель стоит в окружении героев «Угрюм-реки». Уж не Прошка ли присел у нивелира в форменной фуражке и шинели? А этот бородатый коренастый мужик очень напоминает старшего Громова...

Но главный труд своей жизни он начнет только девять лет спустя («Угрюм-река» — та вещь, ради которой я родился»). Пока же написана и опубликована лишь сказка «Кедр» (1908 год). А людей на фотографии, сделанной на берегах Лены, можно смело назвать героями многих произведений Вячеслава Шишкова. С ними, такими же землепроходцами, делил он невзгоды кочевой жизни, уходил в рискованные экспедиции. На таежных тропах встречал охотников и золотоискателей, записывал их рассказы в книжечку, которая всегда была с ним. «Зачем это делал, сам не знаю. Так просто. А сейчас мне это пригодилось». Сотни характеров раскрылись ему, сотни встреч запечатлелись в памяти.

Вспоминая прожитое, он писал: «Мои лучшие годы протекли в живом труде, среди разнообразной природы. Я видел всяческую жизнь, но

судьба дала мне больше всего присмотреться к жизни простых людей. Я жил бок о бок с этими людьми, нередко ел из одного котла и спал под одной палаткой с ними».

Два десятилетия, проведенных в Сибири, дали Шишкову огромный материал, обогатили знанием жизни, научили преодолевать трудности, закалили характер. Глубокий след оставил он по ту сторону Уральских гор. Даже если бы не взялся В. Я. Шишков за перо, его имя все равно осталось бы в истории освоения Сибири и произносилось сегодня с уважением.

В 1913 году Шишков возглавил группу исследователей Чуйского тракта. Он по-прежнему весь отдается любимому делу, но мысль уже «просится к перу, перо — к бумаге». Первые литературные опыты встречены одобрительно. Он чувствовал непреодолимое желание рассказать людям о том, что увидел, узнал, понял за минувшие годы. Иногда приходила мысль: не поздно ли? В сорок лет рискованно менять профессию. Может быть, воспоминания об этих днях заставили его сказать в одной из бесед: «Писательство — трудная, очень трудная работа. Она требует больших познаний, большого опыта. И к тому же это очень ответственное дело. Нужно становиться зоологом, химиком, накапливать опыт, знания, а потом, если явится желание, так писать можно и в 35 лет».

Зимой 1914 года в Петрограде, куда привела его служебная командировка, состоялась первая встреча с Алексеем Максимовичем Горьким, во многом определившая судьбу гидротехника Вячеслава Шишкова. Он уехал из Сибири, чтобы вскоре вновь вернуться туда, но теперь уже в своих книгах.

НА БЕРЕГАХ МОЛОГИ

Тысячи верст прошел В. Я. Шишков берегами Лены и Енисея. Исследовал Нижнюю Тунгуску и Ангару, плавал по Бии и Катунь. Но самой любимой, самой дорогой для него всегда оставалась тихая Молога, несущая свои воды голубыми льняными полями Моложской низины. Уютная, обжитая река, на берегах которой стоит древний город Бежецк. В истории русской культуры знаменит он многими именами. Большой и заслуженной была слава создателя народного оркестра бежечанина Василия Васильевича Андреева, талантливого художника и педагога Павла Петровича Чистякова — наставника Репина и многих других русских живописцев. С этими местами связаны имена Николая Батюшкова, Федора Глинка, декабристов Александра Бестужева-Марлинского и Николая Бестужева. Вдохновенные строки посвятила Бежецку часто приезжавшая сюда Анна Ахматова.

Здесь сто лет назад, 3 октября 1873 года, в доме на Воздвиженской улице родился В. Я. Шишков.

Немногое в сегодняшнем Бежецке напоминает о тех временах. Разве что бывшие купеческие особняки, построенные на манер московских и петербургских: и мы, мол, не лыком шиты. Негоцианты разных калибров составляли до революции почти пятую часть горожан. Дымил на берегу Молого винный завод. Колокольни на Кашинской, Садовой, Большой улицах. Кабаки всевозможных разрядов. И лишь четыре школы да шестиклассное училище.

Этого Бежецка нет и в помине. Новый город смотрится теперь в воды реки. Многим знаменит он. Но прежде всего заводом «Бежецксельмаш», выпускающим машины для комплексного возделывания «северного шелка», которым так богата Калининская область. Лыноуборочные машины идут отсюда во все концы страны, отправляются за границу. У них отличная аттестация: еще в 1963 году на международной ярмарке в Лейпциге бежецкому лынокомбайну была присуждена золотая медаль. С тех пор коллекция наград постоянно пополняется.

Растет завод, растут другие предприятия, раздвигает границы древний город. Но бережно сохраняется в нем все, что связано с историей, благоустраиваются памятные места.

Дом на Воздвиженской не сохранился. Он обветшал, и его разобрали еще в 1913 году и здесь же поставили новый. Средства на постройку прислал из Сибири старший сын — Вячеслав. Отказывая себе во всем, он, по его собственному признанию, копил деньги многие годы и потому имел все основания сказать: «Дом этот нажит не торговлей, не эксплуатацией рабочих, а личным трудом». Он и сейчас стоит на улице, носящей имя писателя.

Сохранилось здание городского училища, где учитель словесности Павлов читал вслух сочинения пятиклассника Шишкова, высоко оценивая их. Мальчик выделялся среди сверстников серьезностью, разносторонностью и глубиной интересов. И хотя в доме отца литературой не увлекались, Вестенька (так звали Шишкова в семье) не расставался с книгами. С детских лет его любимыми писателями были Гоголь, Пушкин, Успенский, Толстой, Короленко. И, вероятно, под влиянием прочитанного двенадцатилетний подросток сочинил «повесть о разбойничьей жизни» — «Волчье логово». «С тех пор,— вспоминал В. Я. Шишков,— вплоть до самого зрелого возраста, я литературой не занимался, и мне не приходило в голову, что я буду писателем».

И все же интерес к творчеству пробудился у него в юные годы не случайно. Биографы В. Я. Шишкова единодушно отмечают, что главную роль в этом сыграла его бабушка...

Неподалеку от Бежецка раскинулось село Шишково-Дуброва, с которым тесно связаны детские и юношеские годы писателя. Воспоминания о них он пронес через всю жизнь. Они озарили его творчество. Здесь, в Дуброве, испытал он неотразимое очарование родной природы, здесь во всем богатстве явилась ему русская речь, здесь из уст бабушки услышал он сказки и легенды, откликнувшиеся на страницах его книг.

Вячеслав Яковлевич вспоминал об этой счастливой и беззаботной поре:

«Я рос в городе. Летом же уезжал в деревню к бабушке, где и прогацивал до поздней осени. Я очень любил бабушку и любил деревню. «Дуброва» расположена среди высоких холмов, покрытых густым хвойным лесом. Почти каждый день мы с товарищами ходили в лес, в горы, по грибы, по ягоды. Товарищами моими были крестьянские парнишки...

Жилось весело, шумно, и осень, когда нужно было ехать в город, всегда встречалась слезами.

Избушка бабушки маленькая, покривившаяся, вросшая двумя окошками в землю, но она до сих пор живет в моей памяти, как светлая сказка».

...Я приехал в Дуброву зимой. За минувшие годы изменилась деревня, сохранив, пожалуй, лишь свое название. Тихие, замеченные снегом улицы, голубые столбы дыма над крышами. На возвышении — большой деревянный дом. Прежде здесь была усадьба. Но не в роскошные дедовские хоромы спешил Вестенька, а в скромный домик бабушки, доброй, ласковой Елизаветы Даниловны. Он знал, что уж и новая сказка его ждет и прогулка интересная. И друзей его босоногих из дома не выгонят, а угостят всем, что есть на столе.

Деда своего видел он лишь несколько раз. В доме бабушки о нем не говорили. Много лет спустя узнал Шишков семейную историю. Крепостная девушка понравилась молодому барину. Счастливо складывалась жизнь у красивой, голосистой Елизаветы. Росли сын и дочь. Но родители принудили Дмитрия Шишкова жениться на богатой, и он подчинился их воле. А Елизавета забрала ребятишек и ушла в тот самый домик, который с такой любовью вспоминал Вячеслав Яковлевич. Одна воспитывала детей /Шишков дал им свою фамилию/, помощи не просила. А потом всю любовь отдала внуку...

Время не пощадило этот дом, и не многие в селе помнят, где стоял он. Давно уже нет и дедовской усадьбы. Главное здание ее перестраивалось, и теперь на его месте — средняя школа. У директора Людмилы Ивановны Колпаковой много дел и забот: приезжает комиссия из района. Но имя Шишкова звучит как пароль. Она откладывает на время дела и увлеченно рассказывает о том, как ребята и педагоги готовятся к столетию со дня рождения писателя-земляка. Разыскивают материалы о его пребывании в Дуброве (увы, даже профессиональным краеведам не так-то просто отыскать что-либо новое или малоизвестное), создают школьный музей В. Я. Шишкова, записывают рассказы старожил.

А за окнами засыпанная снегом Дуброва. Белые поля за околицей, старое кладбище на пригорке, поросшие молодым лесом холмы. Когда-то рос на них строевой лес. И Вячеслав, перенявший от отца увлечение охотой, бродил здесь с ружьем, высматривая проворную белку, оты-

скивал коренастые боровики, набредал на земляничные поляны и заросли малины. Здесь продолжались бабушкины сказки. И может быть, в этом лесу родилась у него мечта о далекой Сибири.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ОН ВЫБИРАЛ

«С большим волнением всматриваясь в небывалые события народной жизни... я никогда ни на один день не представлял себе свои личные радости и горести, тем более свою писательскую судьбу — вне судьбы народа».

Право на эти искренние, идущие от самого сердца слова Вячеслав Яковлевич Шишков доказал своим творчеством, всей своей жизнью. Поселившись в Петрограде, он, в сущности, так и не обрел оседлости. Да и как было усидеть за столом, когда рушились вековые устои, начинались великие стройки, когда страна поднялась к новой жизни, освященной Октябрем.

Он снова в дороге. Первая поездка — в родные края, в Тверскую губернию. Впечатления от этого путешествия вошли в «Шутейные рассказы» и книгу очерков «Ржаная Русь». Их герои — рабочие, комсомольцы-земляки, крестьяне преобразующейся деревни. На страницах этих книг и родной Бежецк, и Бологовское озеро, и Осташков.

Уже начата «Угрюм-река», но он откладывает рукопись и спешит в Смоленск, Кострому, Крым. Навещает Бежецк. «Каждый его приезд, — пишет Павлов, — сопровождался устройством дружеских вечеров, на которых писатель мастерски читал свои произведения. Так, в 1926 г., приехав в Бежецк, в кругу родных и друзей он с исключительным успехом читал свою небольшую неопубликованную комедию «Веселый разговор».

Не забывал писатель и город, где прошли его «университеты», где в том же училище занимался и его младший брат Алексей, до конца своих дней живший в Вышнем Волочке.

Но больше всего Шишкова привлекали новостройки Страны Советов. В двадцатые — начале тридцатых годов он побывал в Перми, Рыбинске, Новгороде, Ростове, Ярославле, Сталинграде, Краснодаре, Азове, Тамани, Феодосии, Судаке, Свердловске, Нижнем Тагиле, Соликамске и еще добром десятке городов и сел. Он оставался прежним землепроходцем, только теперь его инструментами были не теодолит и нивелир, а перо и блокнот.

В 1931 году Шишков в последний раз навещил родной город, возвращаясь с Урала. Собирался приехать вновь, однако мешали дела, большая писательская и общественная работа. Но на берега Мологи шли его письма, книги с надписями, адресованные сестре, племяннику. Многие из них сохранились в доме на улице Шишкова.

Переписывался Вячеслав Яковлевич и с местными краеведами. Из этой переписки известно, что он собирался создать произведение из истории родного города. Вероятно, надеялся на «перерыв» в работе после «Угрюм-реки», но его думами уже владел Емельян Пугачев. «Историческая миниатюра» из жизни Бежецка осталась ненаписанной...

Есть в Бежецке на улице Карла Маркса здание, знакомое каждому горожанину. Это библиотека имени Шишкова. Ее сотрудники много сделали и делают для пропаганды творчества писателя-земляка. Зимой 1945 года тогдашняя заведующая районной библиотекой Е. Д. Иванова послала письмо Вячеславу Яковлевичу, приглашая навестить Бежецк. Шишков был серьезно болен, но письмо земляков не оставил без ответа:

«Дорогая Екатерина Дмитриевна! Благодарю Вас за Ваше любезное письмо. Спасибо также за приглашение приехать в родной город и побеседовать с читателями. Вот этого-то, к величайшему моему сожалению, никак исполнить не могу: не позволяет мое болезненное состояние, а отчасти и возраст. Я даже отказываюсь и в Москве выступать и по радио бросил читать свои произведения. Да, признаться, и некогда: тороплюсь с окончанием «Емельяна».

Так что мой приезд в Бежецк придется отложить. Передайте друзьям-читателям, что я очень ценю их отношение ко мне, ведь в таких дружеских нитях от сердца к сердцу все счастье, вся радость человека, который наделен природой носить высокое звание писателя.

Прислать свои книги в Вашу библиотеку не в состоянии: их нет у меня. Я сам дорого заплатил бы, чтобы иметь их. Было у меня в г. Пушкине /Царское Село/ по одному экземпляру всех книг моих, но мне пришлось из Пушкина, где я жил, спешно перебраться в Ленинград, где я провел почти всю блокаду, все бросить: старинную дорогую мебель, утварь, хорошую библиотеку, даже архив. И все же прислужу Вам свою книжку «Прохиндей» — выпуска 44 года, повесть из времен пугачевского движения...

Да! Чуть не забыл. В Ленинграде весной должна выйти в одном томе «Угрюм-река» /оба тома соединены/, не прозевайте.

Второй том «Пугачева» сдан в производство, он такого же размера, что и первый. Будет еще третий том, который закончу весной.

Желаю Вам всего лучшего. Ваш Вяч. Шишков».

Занятый огромной работой, больной, диктовал он это пространное письмо, полное любви к землякам. Так пишут очень близким людям. Шишков не лукавил, когда говорил, что собственных книг у него не осталось. Прежде держал только по одному экземпляру и никогда не выставлял напоказ. И сегодня в последней, московской квартире писателя, на улице Горького, вы не сразу отыщете на полках «Угрюм-реку» или «Емельяна Пугачева». Почетное место в книжном строю занимают его любимые с детства авторы. Вдова писателя Клавдия Михайловна Шишкова хранит эту традицию...

Он вернулся в родной Бежецк летним днем 1950 года. Тысячи людей пришли в городской сад на открытие памятника своему замечательному земляку, выдающемуся советскому писателю Вячеславу Яковлеви-

чу Шишкову. По крупичам собрали они и внесли в новый музей все, что связано с жизнью Шишкова в Бежецком крае. Книги его, почитаемые во всей стране, особенно любимы здесь, на родине писателя.

Подводя итоги сделанного, В. Я. Шишков писал:

«Я не старался распространяться вширь, я норовил сам себя поднять вверх. Книгу за книгой, написанные мною, я подкладывал себе под ноги и год от года рос вверх, все выше и выше. И вот заметил меня народ, высоко оценило мою скромную работу правительство. И я по-человечески счастлив.

Я смотрю на жизнь писателя, как на подвиг, как на служение народу, поэтому я был скуп на свою личную жизнь и расточителен в творчестве. Мною написано около трехсот печатных листов. Из них только пятнадцать сделаны до революции. Поэтому я вправе считать себя писателем советского времени».

Он посвятил свою жизнь Отечеству, людям и потому заслужил их признание и любовь. «Человек-добро» — сказал о Вячеславе Яковлевиче Шишкове его друг Константин Федин. И к этим словам вряд ли что-нибудь нужно добавлять.

1973

СТАРЫЙ ХУДОЖНИК

Эта книжка создавалась не за письменным столом, а в дороге, в поездках по градам и весям ставшего мне поистине родным Верхневолжья. Вот почему многие строки в ней продиктованы искренней и благодарной любовью к тверской земле, к людям, жившим и живущим на ней, восславившим ее — древнюю и вечную — своим трудом и талантом. И, завершая короткий рассказ о встречах, оставивших в моей душе незримый, но прочный след, не могу не сказать хоть несколько слов еще об одном человеке, некогда открывшем для меня самые заповедные уголки Верхневолжья — пушкинские места...

Увы, этого старого деревянного дома, что стоял в Калининне на самом почти берегу Тьмаки, теперь нет. Широкий проспект — Тверской — смахнул /вот ирония!/ самые тверские домишки, неказистые, но такие уютные, такие живые. В нем, том старом доме, были скрипучие лестницы, полные тайн темные чуланы, большой чердак, на котором в пыли и всяком дореволюционном еще хламе можно было отыскать вдруг подшивку пожелтевших, словно пергаментных, журналов, загадочную книгу с оторванным титулом и еще многое, чего, увы, никогда не найти на чердаках наших удручающе похожих друг на друга высоток. Да и сами чердаки в новостройках нынче большая редкость.

Хозяином дома на Тверском был художник Михаил Викторович Хорьков. Я дружил с его сыном и потому бывал здесь частым и желан-

ным гостем. Сам хозяин в ту пору редко засиживался в комнатах: рядом была его мастерская, где он одержимо работал с утра и до позднего вечера. Писал он в традиционной манере. Так был обучен еще с юности, боготворил передвижников и старался следовать им в своих пейзажах. Жанр этот был для него любимым. Честно говоря, мне нравилось далеко не все, что он писал. Лучше всего ему удавались этюды. Свежие, живые, сдержанные по колориту. Все больше березки да сосны, коими богата тверская природа. И еще он замечательно изображал воду. Пруды, лесные болотца, тихие заводи были на его холстах словно живые... Иногда мы спорили с ним о живописи и ее предназначении. Маленький, седой, круглоголовый, с кустиками белых бровей, он быстро «заводился», сыпал аргументами, а потом вдруг убегал в один из своих чуланов-запасников и возвращался с целой охапкой картонок, которые и должны были служить самыми убедительными аргументами в нашем с ним споре, где арбитром выступал его сын.

Так было и на этот раз. Разбирая ворох принесенных Михаилом Викторовичем работ, я обратил внимание на несколько небольших пейзажей. Один из них понравился особенно. Он радовал глаз свежей весенней зеленью всхолмленного поля, среди которого желтела полоска дороги, убегающей к перелеску. На дороге — фигурки людей, справа от них — избы недалекой деревеньки. И надо всем этим — подернутое легкими облаками небо с голубыми промоинами.

В общем-то традиционный пейзаж с традиционным и особо любимым русскими художниками мотивом — дорогой. Смотришь на него, и вспоминается саврасовский большак с ивами на обочине, шишкинская «Рожь». А сколько вдохновенных строк посвящено русской дороге, «дорожным думам» в нашей литературе! Пушкин и Вяземский, Глинка и Некрасов, Гоголь, Фет, Чехов, Блок...

Даря этюд, старый художник сказал:

— Писал сразу после войны в старицких местах. А если точнее — в Бернове. По этой вот дороге сто пятьдесят лет назад ходил Александр Сергеевич Пушкин, когда приезжал в наши края. Да вы, должно быть, знаете об этом...

Сказанное им потрясло меня. Как! Пушкин был здесь, рядом! Да ведь я по казенной надобности проезжал мимо этих мест столько раз, не подозревая даже, что еду пушкинской дорогой.

Снова пересмотрел все картонки. Солнечные уголки заросших, одичавших парков. Обветшалые особняки, в которых угадывается рука выдающихся зодчих. Пруды и прудики. Светлые плесы... Предо мною были зримые приметы минувшего века, освещенные именем Пушкина.

Я унес этюд домой, повесил над своим рабочим столом и, глядя на этот пейзаж, задался мыслью: непременно в самое ближайшее время пройти этой полевой дорогой. Вскоре привела она меня не только в Берново, но и в Малинники, Павловское, Курово-Покровское, Глинкино, Торжок, Старицу, Погорелое Городище... И вот уже более двадцати

лет я при каждом удобном случае возвращаюсь сюда, чтобы подышать живительным воздухом возрожденных парков, окунуться в прозрачную воду Тьмы, постоять на берегу берновского омута, откуда друзья привезли мне кусок мельничного колеса, что вращал жернова еще в те времена, когда сюда частенько езживал и хаживал Александр Сергеевич. Одна из местных легенд гласит: печальная судьба дочери берновского мельника подсказала ему сюжет «Русалки». Так ли это или не так, но достоверно то, что именно здесь, в этом древнем селе, написал Пушкин многие строки своей драмы...

Стою на берегу омута, по которому октябрьский колючий ветерок гонит флотилию красных кленовых листьев, и с благодарностью вспоминаю старого тверского художника. С его незатейливого этюда началась для меня тропинка к Пушкину. Потом я постарался привести на волшебную тропу всех, кому дорого имя великого поэта, кто хочет своими глазами увидеть места, где среди прочих родились и эти удивительные строки:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит...

Под голубые пушкинские небеса привел меня старый тверской художник. Он не создал шедевров в маленькой своей мастерской, но сумел талантливо запечатлеть образы родной земли. И тем заслужил нашу благодарность.

СОДЕРЖАНИЕ

Загадка И. Л. А.	3
Поездка в Берново	13
Осень в дубовых лесах	21
Шесть страничек	30
«Я видел всяческую жизнь...»	37
Старый художник	44

Алексей Степанович ПЬЯНОВ

ПОЕЗДКА В БЕРНОВО

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

Сдано в набор 1.06.88. Подписано к печати 21.07.88. А 10379.
Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсет-
ная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отг. 2,28. Учетно-изд. л. 3,12.
Тираж 150 000 экз. Зак. № 2532. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП,
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.